

РИЖСКИЙ альманах

РА6

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
ОБЗОРЫ
ПЕРЕВОДЫ
КРИТИКА

№ 6 (11)



Рига, 2015

Издается при поддержке Латвийского фонда капитала культуры

Редакционная коллегия:

Т.Зандерсон

Е.Матьякубова

Вл.Новиков

Рук. проекта Борис Равдин

Гл. редактор Ирина Цыгальская

Корректор Елена Васильева

Художник Виктория Матисон

ISBN: 978-9934-14-656-5

ЛОПК 2015

СОДЕРЖАНИЕ:

СТИХИ

Из новых переводов Сергея Морейно

- Збигнев Херберт
Рышард Криницкий 5

Имант Аузинь

- Стихи. Пер. И.Ц. 14

Приз симпатий «РИЖСКОГО АЛЬМАНАХА»

- «Кубок мира». Конкурс одного стихотворения 19

Четвертый Чемпионат Балтии 27

- Геннадий Акимов 27
Олег Бабинов 29
Светлана Гусева 30
Александр Куликов 32
Михаил Озмитель 45
Анастасия Лиене Приедниеце 48
Лана Степанова 50

ПРОЗА

Алексей Герасимов 53

Из сборника миниатюр «Капли»

Моцарт-убийца, или Мой любимый цвет – красный. Рассказ

Сергей Морейно

- Цвет: белый. Рассказ 86

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ОТКЛИКИ

Барбала Симсоне

- Вкус пули. О романе М.Берзиньша «Вкус свинца» 97

Ирина Цыгальская

- Сигналы из бесконечности. О сборнике стихотворений Л.Бриедиса в переводе Ю. Касянич на русский язык. 101

Карлис Вердиньш

- Актуальная русская поэзия. Фрагмент статьи «Между приличием и отличием. Поэзия Латвии в 2014 году» 106

Новые и старые книги 109

Анна Иванова

- Еще о новинках 111

ВОСПОМИНАНИЯ

Эрмар Свадост

Встречи с Яном Райнисом 115

Язеп Эйдус

Глава из книги воспоминаний «Прошедшее (1916 – 2004). Ретроспектива и переоценка». Публикация и перевод И.Карбановой. Предисловие «Несколько лет из жизни человека XX века: Язеп Эйдус» и примечания

Б.Равдина 119

Инесса Карбанова

Иду вслед 151

IN MEMORIAM

Ушел поэт

Имант Аузинь. Тост. (Янису Сирмбардису). Пер. И.Ц. 175

Борис Равдин

Памяти современника. (Иван Яхимович) 177

Памяти Руты Озолини 188

АРХИВНОЕ

(Подготовка и публикация Н.Петренко)

Из собрания Т.И.Власовой 191

Фотокомментарий к разговору О.Мандельштама и М.Цветаевой

о полковнике А.В.Цыгальском 196

Было? (По материалам Госархива Латвии) 199

Под сенью постамента Барклаю де Толли 204

Сведения об авторах 206

Из новых переводов Сергея Морейно

Збигнев Херберт (Zbigniew Herbert: 1925, Львов – 1998, Варшава) – польский поэт, эссеист, драматург. Играл значительную роль в польском (и европейском) литературном процессе. По образованию экономист, юрист и философ. При немцах во Львове зарабатывал кормлением здоровых вшей в процессе производства противотифозной вакцины (похожий эпизод отражен в фильме А. Жулавского «Третья часть ночи»); был связан с Армией Краевой. В период 1956–81 по большей части жил за границей (Германия, Австрия, Италия, США), немало поспособствовав признанию польской культуры за рубежом. Хотя история не знает сослагательного наклонения, нужно заметить, что именно он мог бы да и должен был бы получить Нобелевскую премию вместо Виславы Шимборской (как Ярослав Ивашкевич вместо Чеслава Милоша). Автор культового поэтического цикла *Pan Cogito*. А. Базилевской определил поэзию Херберта как «оживленную силой иронии философскую притчу о временах, когда утопии оборачиваются концлагерями». Пользовался большим вниманием переводчиков на русский язык; к сожалению, многие известные переводы отличаются излишней эмоциональностью, что не вполне свойственно оригиналу, и грешат лингвистическими неточностями. Среди книг: «Гермес, пес и звезда» (1957), «Исследование предмета» (1961), «Пан Cogito» (1974), «Рапорт из осажденного города» (1983), «Ровиго» (1992), «Эпилог бури» (1998). Младшие поэты ведут с Хербертом непрерывающийся разговор. Так, на знаменитое стихотворение Херберта «Почему классики» (сборник *Исследование предмета*), посвященное австрийской актрисе Анжелике Гауфф –

[..]

если темой искусства
разбитое станет корыто
жалкое разбитое сердце
чья скорбь о себе безмерна
мы ничего не оставим
ну разве что плач любовников

в жалком грязном отеле
когда светлеют обои

– полвека спустя дал своеобразный ответ молодой поэт Яцек Денель (Jacek Dehnel: род. 1980), в прошлом году гостивший в Риге на Днях поэзии:

ОТЕЛЬ ЖЕШУВ

Вот тема для искусства (Фукидид пускай
заляжет на дно, среди скал, с кораблями вместе) –
плач любовников в отеле. Грязном, но не жалком:
этажей десять бетона, вонючие клетки,
многие лета прикрывавшие яму котлована.
Там будет теперь центр чего-то. Весь в белом.

Но этих двоих не заменить двумя другими,
не стереть, не переписать, не отстроить вновь.
И понесут, порознь, сквозь друг с другом
не связанные уже жизни, тех двоих из отеля:
сопливых, с зареванными глазами подростков,
обнявшихся в квадрате непромытого окна,
которых старики (в духе веницийском) долго
разлучали, пока все ж не разлучили. Они
будут идти, ехать, плыть, лететь сквозь
годы с той бетонной руиной словно с осколком в мышце,
безвозвратны, потеряны. Ну или хотя бы один
из них.

Рышард Криницкий (Ryszard Krynicki: род. 1943, Sankt Valentin, Австрия) – польский поэт, переводчик и издатель. Один из вдохновителей так называемой Новой волны (Адам Загаевский, Станислав Баранчак, Юлиан Корнхаузер, Ежи Кронхольд, Эва Липска и др.). Дебютировал в 1964 году. В семидесятые и восьмидесятые годы был связан с оппозицией, в период 1976–1980 ему было запрещено печататься. Переводил немецкую поэзию, в том числе Бертольда Брехта, Нелли Закс, Пауля Целана. «Именно в поэзии, несмотря на хрупкость и несовершенство слова, Криницкий находит наиболее стойкую опору, нечто, не подлежащее уничтожению» (К. И. Зёла). Многочисленные награды.

Основатель (вместе с женой Кристиной Криницкой) крупнейшего польского издательства а5, издающего преимущественно современную польскую поэзию. Среди книг: «Ход погони, импульс побега» (1968), «Коллективный организм» (1975), «Немного более» (1981), «Независимые ничтожества» (1988), «Магнитная точка» (1996), «Камень, иней» (2005).

ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ

Иона

*И повелел Господь большому киту
поглотить Иону*

Иона сын Амита
не выполнив рискованной миссии
дал деру на судне шедшем
из Яффо в Таршиш

дальнейшее всем известно
крепкий ветер буря
матросы сбрасывают Иону в бездну
и утихает море от ярости своей
приплывает как задумано кит
три дня и три ночи
Иона молится в чреве кита пока
тот не выбрасывает его
обратно на сушу

Иона наших дней
уходит камнем на дно
встречая кашалота
не успеваешь пукнуть

будучи спасен
ведет себя хитрее
библейского коллеги
во второй раз отбивается
от опасной миссии

отпускает бороду
и вдалеке от моря
вдали от Ниневи
под фальшивой фамилией
торгует антиками и скотом

агенты Левиафана
охотно берут взятки
они порученцы случая
вовсе не посланцы судьбы

в опрятной больнице
Иона умирает от рака
сам толком не понимая
кем собственно был

ореол
приложенный к его голове
гаснет
тело не приемлет
бальзама притчи

Возвращение проконсула

Решил вернуться ко двору государя
еще раз испытаю можно ли там выжить
а мог бы остаться в отдаленной провинции
под кронами сладостными смоковниц
в мягкой власти болезненных фаворитов

вернувшись выслуживаться не собираюсь
буду строго дозировать бис bravo
выдавливая улыбку расчетливо хмурить брови
мне не выдадут за это золотой цепи
достанет и железной

решил вернуться завтра послезавтра
не могу жить среди виноградников все здесь чужое
деревья без корней дома без фундаментов из стекла дождь
цветы пахнут воском

в пустое небо стучит засохшая тучка
так возвращаюсь завтра послезавтра определенно

надо будет заново условиться с лицом
заставить нижнюю губу стереть презренья
глаза пусть будут идеально пусты
и чтобы подбородок пугливый зайчик лица моего
не прыгал каждый раз как входит претор

уверен в одном вина я с ним пить не стану
если подойдет с кубком опущу взгляд
и притворюсь что достаю из зубов остатки пищи
светское мужество государь ценит
в разумных пределах да в разумных пределах
в принципе он человек такой же как все
донельзя утомленный репризами с ядом
трезвость эти вечные трехходовки
тот левый кубок для Друзиуса в правом омочить губы
потом пить лишь воду с Тацита не спускать глаз
выйти в сад и вернуться когда вынесут тело

Решил вернуться ко двору государя
впрямь надеюсь что как-нибудь обойдется

Трен Фортинбраса

М. Ч.

Сейчас когда мы одни принц можем и поговорить как
мужчина с мужчиной
хоть леж на ступенях ты видишь то же что мертвый мураш
то есть черное солнце со надломленными лучами
Никогда не мог подумать без усмешки о твоих ладонях
ныне когда они сбитыми гнездами легли на камень
они всё так же как прежде беззащитны Это и есть конец
Руки легли отдельно Шпага отдельно Отдельно голова
и благородные ноги в мягких туфлях

город в разливе песчаной волны солнца
известковой волны месяца

о город какой же это город скажите что за город
под какой звездой на каких дорогах

о людях: трудятся на бойне в огромном здании
саман пол бетонный оваян запахом крови и животных
покаянным каноном Вот есть ли там поэты (поэты молчащие)
немного солдат чудовищная трескотня казарм в слободке
в воскресенье за мостом в кустах колючих на стылом песке
на ржавой траве красавицы принимают военных
еще немного мест отведенных под мечтания Синема
где на белую стену выплеснуты тени нездешних
точки где алкоголь подают в стекле тонком и толстом
есть еще наконец голодные псы которые воют
помечая таким образом городские заставы Amen
так вам все еще не ясно какой это город
неистового гнева достойный где этот город
на каких он ветрах под каким столбом атмосферным
и кто там живет то ли люди подобные нам цветом кожи
то ли люди с нашими лицами то ли

Рышарду Криницкому – письмо

Немногого останется Рышард немного правда
от строф шального этого века верно Рильке Элиот
несколько других умелых шаманов хранивших тайну
заклятия фраз секрет времястойкой формы без которой нет
слов заслуживающих запоминания а речь как песок

школьных тетрадей наших честная боль
с пятнами пота слез крови будет
в глазах извечной корректорши как текст песни без нот
благородно прям вместе с тем банален
слишком легко поверили что красота не спасет

лишь поведет легковерных изо сна в сон к смерти
никто из нас не смог в тополе пробудить дриаду
прочесть тайнопись туч
а посему и не пробегут по нашим следам единороги
не воскреснет парусник в заливе павлин роза
оставлена нам нагота и стоим мы наги
на правой лучшей створке триптиха
Страшный суд

на худые плечи взвалили мы честь гражданство
борьбу с тиранами лжой стенограммы страданий
однако противники наши – признай же – были ничтожны
священная речь стоило ли ей снисходить
до лепета с трибун до черной газетной пены

так мало радости – дочери богов в стихах наших Ричард
мало светящихся сумерек зеркал венков ликований
только темная псалмодия заикание псхое
полные урны праха в саду сожженном

какая нужна сила чтобы року
истории кривым судам противясь
шептать в саду масличном – ночь тиха

какая нужна сила духа высечь
о рану раной ударяя слепо
искорку света символ единенья

чтобы не распался круг танцующих в густой траве
да святятся все рождения и каждое начало
дары огня воды и воздуха и земли

того не знаю я – мой Дорогой – так что
совиные эти загадки отсылаю ночью
сердечное объятье

поклон моей тени

РЫШАРД КРИНИЦКИЙ

* * *

*стоит ли ради них принижать священную речь
Збигнев Херберт*

Добра я знавал поболее, чем зла –
были мне в том порукой
слабые глаза и ладони,
сравнительная ясность ума,
вирус жизни и страх,
час ущерба и час расплаты,
язык и речь:

грешный язык,
но я им не владею больше,

священная речь,
но до нее я еще не дорос

(Март 1987)

СТИХИ

Перевод И. Ц.

* * *

Странное лето:
ночами ярче луна, чем дневное светило;
первый раз на веку лишь в озерах тумана
плыву; мертвенный после заката
свет озаряет деревьев ветви,
стволы, – как вымерших динозавров скелеты;

серебристое лето,
что делаешь с нами?

В колосьях ржаных серебро
и в прядях волос человека;
шелест дождя серебристый.

Посеребрен, смотрю на мир серебристый.

1993

Лирика

Я сберегаю день, как скряга:
один богатым будет,
другой – красивым
и золотую нитью станет!

Но вот: течение несет,
течение несет...

Вот день:
он твердый, как алмаз,
(шлифуешь – и преломлен в гранях свет!).

Покажется, желанное родилось.
Но солнце за лесами скрылось.

А течение несет,
течение несет...

Рассеялся ли день по ветру?
Ах, что сеял и чего достиг?
Цветы черемухи в течении одни лишь...

Глядишь,
то не потеряно как раз,
что вместе мы с тобою потеряли!

1998 / 2001

Сшить небо

То птица ль камнем вниз,
раскрылся ли последний лист?
Крик журавлей
сшивает небо;
то ласточка ли
мечется проворно –
сметать небесный холст
узорами, которых ждали
целый год –
да не прочли,
не сосчитали.

Скитаюсь
вновь под этим небом,
долгий зимний бред стараюсь
отогнать;
в столетнем
доме обветшалом
на миг я снова
в детстве;

вновь отдается
в висках давнишний
смех
в саду, на чердаке...

Чу, звон опять!
И камнем птица. Лист.
Сшить небо
мне помогите.

1992

* * *

Впадать в отчаянье не буду,
и пусть не плачет сердце подобно небесам, –
да: я – предутренний костер, и догораю,
когда стихает праздник Лиго в ночь.

Пыл от углей еще заметен,
и тонкой струйкою идет дымок.
А утро свою великую игру дневную
на небосклоне затевает вновь.

Пусть догорает постепенно,
а не погаснет от дождя!
В порывах ветра резких искры роем, как
огненные пчелы, вылетают
из улья, называемого жизнью.

2010

О возможности

Пока сады, поля еще не стали рыжесеры,
еще успеть изобразить твой облик, высечь:
вышла ты из грезы,
и в ней же исчезаешь;
резец лишь, стих или кисть почует, –

может быть,
кем ты могла мне быть на этом свете.

С мечтой моей исчезнет и твой образ,
никто и никогда его узнать не сможет.
Не знаю я, лишь чую:
в рейдах тех,
где души летят, как метеоры,
может быть,
я буду тем тебе, кем мог бы тут быть.

Когда на Млечном ли пути мы встретимся,
иль снегопад туманной Андромеды пройдет окрест, –
то от меня – астрального,
от духа
среди звездных кущей светлый миг тебе
достанется: возможно,
там будем теми, кем могли тут быть.

1998

* * *

Еще капелька лета в кувшине
и догадки о том, что себе запретить, а что – нет.
Увы, журавли уже в небе курлычут,
не то радость у них, не то – плачут.

Журавли, или я вам завидую?
Что к Нилу летите – без визы.
Мне кажутся дни мои коротки,
чтобы вдоволь побыть здесь я мог.

Вас гонят мечты реять в даях
и нырять в озера небесные.
У меня, чтобы жить, – земля единственная,
и умереть могу тоже на той же земле я.

2012

Обретение

Ах, не в юдоли печали
дитя встречается с солнцем!
Стихи и песни ему, как начало,
как ритмы самой вселенной.

Даже тысячелетий смену
я настиг еще своим веком:
десять лет уже тут бессменно.
Но где еще через десять буду?

Однако, иду по свету
так, будто я вечный.

Еще чаще жизнь ощущаю,
как ритмы, – стихи и песни.

Как бегущие волны и ветры.
Как танец далеких звезд.

2010 / 2012

Там

Там будет лето – цвет еще зеленый будет,
из красок – моя любимая, быть может.
На свете том почти сестрой мне будешь,
на этом – братом быть тебе не смог.

Песок там в волосы твои бросать не буду,
не стану отнимать твое ведро.
В игрушечной коляске кукол,
счастливые, как дети, покатаем.

Еще студеная и белая зима там тоже будет,
и расцветут цветы на стеклах только,
на этом свете ты их одна не растопила,
на том – я постараюсь, я приду тебе на помощь.

2012

Кубок мира

Приз симпатий «Рижского альманаха» на проходившем осенью 2014 года Международном литературном конкурсе одного стихотворения на «Кубок мира по русской поэзии – 2014» отдан победителю конкурса Александру Ланину (Франкфурт-на-Майне, Германия) и следующим шести поэтам: Ирине Валериной (Бобруйск, Беларусь), Елене Копытовой (Рига, Латвия), Ирине Ремизовой (Кишинев, Молдова), Наталии Санниковой (Уфа, Россия), Лане Степановой (Вангажи, Латвия) и Елене Ширимовой (Одинцово, Россия).

Александр Ланин

Волхвы и Василий

Когда поёживается земля
Под холодным пледом листвы,
В деревню “Малые тополя”,
А может, “Белые соболя”,
А может, “Просто-деревню-мля”
Хмуρο входят волхвы.

Колодезный ворот набычил шею,
Гремит золотая цепь.
Волхвам не верится, неужели
Вот она – цель?
Косые взгляды косых соседей,
Неожиданно добротный засов,
А вместо указанных в брошюрке медведей
Стаи бродячих псов.
Люди гоняют чифирь и мячик,
Играет условный Лепс.
Волхвы подзывают мальчика: “Мальчик,

Здесь живёт Базилевс?”
И Васька выходит, в тоске и в силе.
Окурок летит в кусты.
“Долго ж вы шли, – говорит Василий.
Мои руки пусты, – говорит Василий.
Мои мысли просты, – говорит Василий.
На венах моих – кресты”.

Волхвы сдирают с даров упаковку,
Шуршит бумага, скрипит спина.
“У нас, – говорят, – двадцать веков, как
Некого распинать.
Что же вы, – говорят, – встречаете лаем.
Знамение, – говорят, – звезда”.

А Василий рифмует ту, что вела их:
“Вам, – говорит, – туда”.
Василий захлёбывается кашлем,
Сплёвывает трухой,
“Не надо, – шепчет, – лезть в мою кашу
Немытой вашей рукой.
Вы, – говорит, – меня бы спросили,
Хочу ли я с вами – к вам.
Я не верю словам, – говорит Василий.
Я не верю правам, – говорит Василий.
Я не верю волхвам», – говорит Василий
И показывает волхвам:

На широком плече широкого неба
Набиты яркие купола.
Вера, словно краюха хлеба,
Рубится пополам.
Земля с человеком делится обликом,
Тропа в святые – кровава, крива.
А небо на Нерль опускает облаком
Храм Покрова.
Монеткой в грязи серебрится Ладога,

Выбитым зубом летит душа,
А на небе радуга, радуга, радуга,
Смотрите, как хороша!

Волхвы недоуменно пожимают плечами,
Уворачиваются от даров.
Волхвы укоризненно замечают,
Что Василий, видимо, нездоров.
Уходят, вертя в руках Коран,
Кальвина, Берейшит.

Василий наливает стакан,
Но пить не спешит.

Избы сворачиваются в яранги,
Змеем встаёт Москва,

И к Василию спускается ангел,
Крылатый, как X-102:
“Мои приходили? Что приносили?
Брот, так сказать, да вайн?”
“Да иди ты к волхвам, – говорит Василий.
А хочешь в глаз? – говорит Василий.
Давай лучше выпьем², – говорит Василий.
И ангел говорит: “Давай”.

Ирина Валерина

Тонок лёд

“Тонок лёд над непознанной областью мира,
погоды, через вечность возьмётся покрепче,
вот тогда и пойдём, взяв и ладан, и мирру,
всякой твари по паре, птиц хищных и певчих,
виноградные лозы и злаков запасы,
и созревшую глину, и спящие души...”

Демиург лепит мир из бушующей плазмы,
и расходится тьма, и сгущается суша,

и стекаются в жёлоб горячие реки –
в первозданном бульоне кипят варианты.
Остаётся каких-нибудь три миллиарда
до следов человека.
Вот подводные твари выходят на берег
и напрасными жабрами воздух тягучий
тянут тягостно – жизнь всё больше и гуще.
От идейных истерик
отделяет всего лишь пятьсот миллионов
то ли лет, то ли прочих абстрактных понятий,
и начнётся пора оцифрованных клонов
и продажных объятий.

И с каким фонарём ни заглядывай в души,
но везде отражается только сиротство.
Если хочешь – кричи, да ведь некому слушать,
так что лучше – немотствуй.

И когда демиург, подчинившись порыву,
потому что он тоже над главным не властен,
потому что он только талантливый мастер,
выйдет в чат и напишет спешащим курсивом:
*“тоноклёднаднепознаннойобластьюмиратоноклёднаднепознан
нойобластьюмиратоноклёднаднепознаннойобластьюмира”* –
да, вот именно так, без пробелов и знаков
препинания мысли, ты сможешь ответить:
“Потерпи, через вечность...”, и следом, заплакав:
“Как ты там, мой хороший? Соскучились дети...”

Елена Копытова

Без слов

Говорят, в Отечестве нет пророка,
да и кто б узнал его, если есть?
Но зато опять на хвосте сорока
притащила сдуру худую весть.

...а в чужое сердце влетишь с разгона,
так тебя проводят – «на посошок»
полной чаркой спелого самогона.
Сумасбродно, ветрено... – хорошо!

...а потом – привычный рассол на завтрак.
Хоть полвека пей, всё равно – тоска.
Ты чужой здесь и... не сегодня-завтра
упорхнешь, как ласточка с облучка.

...но пока... молчи! На душе бездонно.
Всё, что важно, сказано и без слов.
Просто Бог, шутя, раскидал по склонам
золотые луковки куполов.

Просто остро пахнут лещом и тиной
на равнинах волжские рукава.
И тебя пронзает гусиным клином
ножевая русская синева.

Ирина Ремизова

Бесогон

Хозяйка вышивает гобелен. Хозяин на охоту снарядился.

... Собачьи дети девяти колен убиты были, чтобы он родился.
Вонючей тиной заросли мешки – в них матери, сыночки их и дони. Им хорошо. Они на дне реки. А он один, в сыром подземном схроне.

Он видит сны про облако и сад, где нет людей, а звери лишь да птицы: там у ворот – его лохматый брат, а на поляне – рыжие сестрицы. Они резвятся весело – увы, его к себе ничуть не ожидая, и только мама смотрит из травы глаза в глаза – такая молодая...

Он слышит, сатанея от тоски: чумазые, в коросте от болячек, ровесники – соседские щенки – гоняют впятером тряпичный мячик, и так им хорошо от суеты и воли, одурительной и сладкой, что даже многомудрые коты на крышах улыбаются укладкой.

Он знает, что особенный – его оберегают, как зеницу ока, затем,

чтоб никакое колдовство его не изничтожило до срока, не придушила намертво петля, не отравила сорная мучица – вокруг него поставлена земля, и борона ощерилась волчицей.

Он понимает, сам себя страшась, и оттого то рыкая, то плача, что с каждым часом всё сильнее связь с необъяснимым чем-то несобачьим, и хочет затаиться и пропасть, и чувствует: как черти в табакерке, чужие зубы заполняют пасть – опасные, стальные, не по мерке.

Не спится. Прокопать бы тайный лаз и убежать – к Макару и телятам. Но чей-то ненавистный жёлтый глаз следит за ним, от самого заката – и, позабыв о том, что глух и нем подлунный мир, бездельник и прокуда, ярчук поёт – от ненависти к тем, из-за кого рождён и жив покуда.

Наталья Санникова

Последний

В печке не пляшет, а старчески шамкает.
Слышишь, не дышит кромешная стынь.
Нет ни принцесс, ни драконов, ни замков тут –
остовы чудищ, а, может, кусты.
Шепчут шаги невесомые чуткие
на чердаке – домовый стережет
наше сокровище позднее, шутка ли,
счастье на старость. Месит снежок
тощая тень под худыми окошками,
чтобы волчок тебя в лес не унес.
Слышишь, из ковшика звездными крошками
запорошило медведице нос.
Глухо крест-накрест зашиты окрестности.
Не прошмыгнет ни одна из дорог.
Много легло здесь, умаявшись, без вести.
Ты постарайся выспаться впрок.
Спи и не слушай, как сердце колотится.
Будет бессонница – крестная мать.
Доля студеной водицы колодезной –
мертвой деревне глаза закрывать.

Лана Степанова

Простая жизнь

Простая жизнь. Где крылья за спиной? Засохли и отпали, если были.
Не выход предлагает выходной, а вход в рутину, скуку и бессилье.

Тушила и варила, как всегда. Почистила балконные перила.
Искала шапки – скоро холода, чего-то тёрла, зашивала, мыла.
Домашних собирала у стола – казался каждый наглухо закрытым.
Не то чтоб несчастливой я была, но как цветы дождём, прибитой бытом.
Болтала о погоде и родне, уроки проверяла (со скандалом),
вдруг вспомнила, что хлеба дома нет, и в магазин ближайший побежала.

А ноги сами понесли к реке, к полуживому дряхлому причалу.
Тонули ноги в илистом песке, я этого почти не замечала.
Тем временем вечерняя заря замачивала алые холстины.
Свет растворялся, сумерки творя. Промозгло пахло сыростью и тиной.
Природа приготовилась ко сну, возник и прекратился лай собачий...

Вдруг кто-то словно в сердце подтолкнул и мой привычный взгляд
переиначил.
Как будто растворилась пелена меж мной и миром, стало всё яснее.
Казалось, словно я листок в волнах реки моей, качаюсь вместе с нею.
Нет, не листок – берёза на ветру. Нет, целая берёзовая роща!
Я знала, что вовеки не умру, а просто стану чем-то лучшим, бóльшим.

Кто совершить преображенье смог? Растаяла печаль горячим воском.
По пустыкам к нам не приходит Бог. Но, может, тень Его, вернее
– ответ?...

Две тишины – в сознании и вне. Какая глубже, истинней какая?
Простая жизнь, подаренная мне, пожалуйста, теки, не иссякая!

Елена Ширимова

Дядя Г.

Бродит запах (каша? щи?) переулками кривыми.
Дядя Гриша-часовщик время дёргает за вымя.
Раньше двигал шестерни, а теперь с работой хуже:
Батарейку замени и ещё пять лет не нужен.
Сколько видел, сколько спас: боевых, звенящих, смиренных...
На стене иконостас из часов старинных гирных.
Вот бы вырастить внучат, раз пока в уме да в теле.
Вроде ходики стучат, а кукушки улетели.
Замерзает палисад, бродит запах (каша, щи ли?).
А кукушки по лесам наше время растащили.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БАЛТИИ

На конкурсе «4-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии», проходившем весной 2015 года, 1-ое место занял Вадим Гройсман. (Петах-Тиква. Израиль), публикация его стихотворений ожидается в одном из ближайших номеров журнала «Дружба народов». Приза симпатий «Рижского альманаха» удостоены Геннадий Акимов (Курск. Россия), Олег Бабинов (Москва), Светлана Гусева (Москва), Александр Куликов (Владивосток. Россия), Михаил Озмитель (Бишкек. Киргизия), Анастасия Лиене Приедниеце (Саулкрасты. Латвия), Лана Степанова (Вангажи. Латвия).

Геннадий Акимов

Никогда

Избегал серпа, обходил десятой дорогой молот,
любил поезда, компании, разные города.
Вдруг очнулся, глядь – а подруга жизни седа,
сам тоже отнюдь не молод,
по груди расплескалась пышная ассирийская борода.
Подцепил зрелый возраст, как надоедливую простуду.
Чем лечиться – не знаю. Само проходит нехай.
Доставай, дорогая, фарфоровую посуду,
давай открывать варенье, заваривать терпкий чай.
Чинно, как полагается, выйдем в сад.
Расположимся в беседке с видом на пруд и аллею,
где на скамейках раскрытые книги лежат,
можжевельник топорщится, а хризантемы белеют.
Будем вдыхать аромат.
Тонконогие буковки ползают, что-то стрекочут,
с удивлением понимаю: настало лучшее время для нас,
конечно же, были погожие дни, сумасшедшие ночи,
но как драгоценен этот вечерний час.
В пруду отражаются наши рябые, размытые лица,
лёгкому ветру противится облачная гряда.
Прилетает нарядная горлица и на песок садится,
буковки собираются в древнее слово “зеница”,
так мне нравится здесь, не хочу умирать никогда.

Из цикла «простая легкость бытия»

2. Художница

Дочери

На листе прикнопленном – набросок
без изъяна: тонкие черты,
хитрое веселье глаз раскосых,
волны шевелюры. Это ты –

девушка, живущая на грани
света – тени. Ты и тень, и луч,
хрупкая модель для Модильяни.
До чего же облик твой певуч!

Пой, душа, не знающая страха,
пей простую лёгкость бытия.
Словно домотканая рубаха,
скроен мир уютно на тебя.

Стыки памяти

Маргарита мертва так давно, что не помнит,
Как её убивали, огнём пытали.
Её дух анфиладой солнечных комнат
Удалился в просторы, где несть печали.

Только слушая реквием, вспоминает крики,
Ощущает запах горелой плоти.
На секунду расходятся памяти стыки,
А потом опять смыкаются плотно.

Доктор Фауст, не плачьте, ведь всё забыто,
Милосердие научились делить на кванты.
Видите – в желтом черепе Маргариты
Вместо глаз горят бриллианты,

Как прожекторы мощные – вдоль асфальта,
Как огонь, охвативший тело – ещё живое...

Черный пудель сидит на стене Бухенвальда,
Смотрит в лунное небо, протяжно воет.

Олег Бабинов

Из цикла «menagerie, меня жри!»

1. шерсть

Здесь живут звери –
большие звери,
средние звери и
малые звери,
звери, которым нравится жить в вольере,
и звери, которым не нравится жить в вольере,
и звери, которые на личном примере
доказали, какие они звери,

звери, повисшие вниз головой на хвосте,
и звери, обретшие старшего брата в хлысте,
звери, которых убедили, что они – те,
и звери, которых убедили, что они – не те,
и звери – охотники до других зверей в темноте,

звери, чья шерсть даёт работу сукну,
звери, рвущие когтем струну,
звери, воющие на луну,
и звери, устроившие войну.

И я просыпаюсь без чего-то шесть
от того, что желаю кого-то съесть,
и ветер клювом щекочет вставшую дыбом шерсть.

3. не понимаю

Прибавляю, отнимаю,
скоро стану убывать,
но никак не понимаю,
как мы смеем убывать.

Как вот тот, кто был младенцем,
кто сопел, уча урок,
душит банным полотенцем,
нажимает на курок?

Вот жила-была принцесса,
ей навстречу – серый волк.
Сказки Битцевского леса.
Составитель – Святополк.

Вот, командующий Градом,
поражает брата брат –
и командующий адом
поражающему рад.

Отрок Митя разбежится,
поскользнется – и на нож.
Чем нам Углич не столица?
Чем тебе, моя царица,
я, убийца, не пригож?

Пну обугленного берцем –
так и надо грязным шмерцам.

Как вот тот, кто был младенцем
и цеплялся за сосок...

Ах, Освенцим, мой Освенцим,
ты не низок, не высок.

Светлана Гусева

* * *

каждым сказанным спросонок
принесенным из оттуда
через марево рассола
пропускает свет посуда

может от и до изменит
или примет что не может
лес отращивает тени
истончаясь до рогожи
до сухих бесшумных линий
кальки маленькая правда
заволок нам дом из глины
долгий невод винограда
прохудившийся местами

белый свет идет собору
кто не умер тот не станет
летом лесом сам собою

* * *

будут живы и мать, и отец:
долг день, да стремительны годы.
на окне, на другом, в чистоте
огуречные первые всходы.
краем глаза на самом краю
чернозема в молочном пакете.
через дело тебя узнаю,
через: “тянутся, вылезли, светит”.

самый снег – это тот, что вчера
становился двором через силу.
ты не любишь грибы собирать,
потому что не ты их растила,
потому что на солнце смотреть
через лист, изменяющий форму,
дольше лет, что шустрей и шустрей
забирают и патокой кормят.

ты макаешь туда лук-порей.

Александр Куликов

Возвращение Моисея

1.

На ослике, потомке тех ослов,
Чей предок на себе возил Иуду,
Неважный ткач косноязычных слов,
Въезжает он в Египет. Отовсюду
Идут к нему старейшины. И чуду
Дивятся: посох наземь кинув свой,
За ним, за уползающей змеей,
Бежит он и за хвост гадюку тащит.
И вот уже, как будто бич свистящий,
Рогатая взмывает над толпой.

2.

И в ужасе отпрянув от змеи,
Стоят, оцепенев. Стихает ропот.
И слышно, как трава шуршит, земли
Касаясь там, где в ней змеятся тропы.
Саманчики стоят и глинокопы,
Оцепенев от страха, и глядят,
Как, дельту Нила обагрив, закат
Затем и русло делает багровым.
Лягушки квакают. Мычат коровы.
Сбиваясь в тучи, комары гудят.

3.

И снова в Моисеевой руке
Из кипариса вырезанный посох.
И снова тихо, и вода в реке
Становится небесней купороса.
«Быть пеклу!» – радуются водоносы.

«А где солону брать для кирпичей?»
«Явился! Проку от его речей!»
«Того гляди дойдет до фараона!»
«Пес мадиамский! Здесь ты вне закона!»
... Горит огнем в терновнике ручей.

4.

И, озирая Гесем, видит он
То место у плотины, где когда-то
Меч обнажил, услышав плач и стон,
Внезапным чувством ярости объятый.
Вот здесь лежал надсмотрщик проклятый,
Убитый этой самою рукой,
Которую сейчас перед собой,
Всю в струпьях, пораженную проказой,
Он держит, потрясенный сам, что сразу,
Вмиг она стала страшною такой.

5.

И, в ужасе отпрянув от руки,
Торчащей будто сикомор трухлявый,
Погонщики стоят и рыбаки,
Оцепенев, крик проглотив картавый.
Над ними черных оводов оравы.
Мычат коровы. Страшно воют псы,
Как будто всем последние часы
Приходят. Будто им последним часом
Стал миг, когда тлетворный запах мяса
Гниющего поймали их носы.

6.

И снова Моисеева рука –
Живая плоть, свидетельство обмана.
«Да сколько можно слушать дурака?!»
«И правда! Завтра подниматься рано».
«Мед с молоком! А, может, с неба манна?»

«По агнцу – всем! Наглее нет лжеца!»
«Скажи еще, из золота тельца!»
«Да что тельца! Все золото Египта!»
«Вы поглядите на него! Вот тип-то!»
... Столп света, словно посох, у дворца.

7.

И, глядя на дворец, где был он юн,
Где жил как сын, хотя и не был сыном,
Где Ливия, касаясь нежных струн,
Смотрела кротко и невыносимо,
Откуда он с проворностью крысиной
Бежал, – он вспомнил, что бежал сюда,
Что так же под папирусом звезда
Качалась и ступни боялись ила.
И, как тогда, он зачерпнул из Нила.
И кровью стала на песке вода!

8.

И, в ужасе отпрянув от того,
Кто кровью обагрил песок белесый,
Стоят, не понимая ничего,
Носильщики, гребцы, каменотесы.
А над дворцом – столп огненный, и косо
По мирным крышам бьет термитный град,
И прямо в окна молнии летят,
И кровь закланных агнцев льет ручьями,
А саранча орудует мечами,
И тьмою липкой город весь объят.

9.

И только здесь, где Моисей воздел
Свой жезл над головами иудеев,
Как будто бы пролег водораздел
Меж тьмой и тьмой и каждый шепчет: «Где я?»
«В глазах туман, и сердце холодеет!»

«Зачем в руке у каждого из нас
Меч или нож? Чья очередь сейчас?»
«За что нам эта страшная расплата?»
«Кого убить я должен? Друга? Брата?»
«Того, кто ближе», – раздается глас.

10.

«Спи, мой сыночек, долгой будет ночь.
А утро в Фивах так и не наступит.
Одной мне эту боль не превозмочь,
Не истолочь, как горький корень, в ступе.
Никто не украдет ее, не купит.
Ну, разве только поделюсь с тобой
В тот день, когда твой первый на убой
Пойдет. С тобой, счастливая Мария,
Я криком поделюсь: «Да хоть умри я,
Он не воскреснет, бедный мальчик мой!»

А где отец? Да на войне

– А где отец? – Да на войне.
– Тогда я подожду, пожалуй.
– Да я разогреть устала.
Садись, поешь немного. – Не.
И поглядел в окно. В окне –
заросший двор, и там, у тына,
о чем-то явор и калина
все время шепчутся. – Ты сам
стрелял сегодня? – По кустам.
Так что душа моя невинна.

Смеркается. На стол свечу
мать ставит, коробком грохочет.
– Да где ж он ходит?! Дело к ночи...
Поешь, сыночек. – Не хочу.
... А явор клонится к плечу

калины в брызгах спелых ягод.
Смеркается. Как будто флягу
трясут, перевернув вверх дном,
накрапывает за окном
чуть слышно. – Мама, я прилягу.

Чуть слышно явор слезы льет.
Доносится гусиный гогот.
Выходят гуси на дорогу,
проходят первый поворот,
а там встречает их осот,
встающий во поле полками,
стучащий в небо кулаками,
пока не грянет гром в ответ...
Он спит, устал и не раздет,
Во сне играя желваками.

– Вставай, сынок! Вставай – беда.
... Огонь свечи дрожит во мраке,
откуда слышен вой собаки
и где стеной стоит вода,
сверкающая, как слюда,
как будто падает с плотины.
... В дверях стоят, сутуля спины,
и на пол капает с плащей.
– Там, на развилке, где ручей,
нашли его в кустах калины.

Неотправленные письма Клаву Элсбергу

(триптих)

1.

Туман вдоль берега морского
сопровождает электричку,
традиционного Лескова
ищу вчерашнюю страничку.

Напротив парень что-то хочет
от девушки с короткой стрижкой,
и то, на чем они лопочут,
скорей всего, язык латышский.

В окне – унылая картина:
туман колышется над морем,
как постаревшая гардина
с намоченною бахромою.

Вдруг парень у меня бесстрастно,
переключив устройство речи,
спросил с растягиваньем гласных:
«А как названье этой речки?»

И вправду, словно скалы, грузен,
густея и мерцая тускло,
туман морское лоно сузил
до ширины речного русла.

Но как философ и историк,
разоблачающий обманы,
я говорю, что это – море,
часть мирового Океана...

Потом нахлынули заботы
(так говорим мы по привычке),
но возвращался я с работы
домой опять на электричке.

С туманом разбирался ветер,
качался катер у причала...
Ах, я неправильно ответил!
И потому начнем сначала.

Туман вдоль берега морского
сопровождает электричку,
традиционного Лескова
ищу вчерашнюю страничку.

Вдруг парень у меня бесстрастно,
переключив устройство речи,
спросил с растягиваньем гласных:
«А как названье этой речки?»

И как философ и историк,
который знает, что ответы
должны быть проще, чем вопросы,
я отвечаю просто: «Лета».

2.

По мотивам Клава Элсберга

... Далекий Владивосток. Далекие восьмидесятые годы прошлого века...

... После завершения Международного конкурса «4-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии – 2015», в ответ на предложение публикации в альманахе, А.Куликов пишет: «буду рад появлению моей подборки в “Рижском альманахе”. Еще и потому, что была в моей жизни встреча с замечательным латышским поэтом Клавом Элсбергом...

...Мы познакомились у нас во Владивостоке, на фестивале братских поэзий в 1985 году. Переписывались, он мне присылал свои книги. Ради его стихов я хотел изучать латышский, но самоучителей тогда не было...

С этим циклом получилось очень интересно. Первый вариант переводов (по подстрочникам) я сделал в 1985-86 годах. А потом отложил их и долго к ним не возвращался. В году так 2006 решил просмотреть архивы, чтобы набрать какие-то старые стихи в Ворде. И увидел переводы. Набрал их, а потом, не глядя в подстрочники, доработал, дав волю фантазии. Ну и, конечно, перед глазами стоял Клава, каким я его запомнил. Я думаю, он мне очень помог в плане поэтического становления. Когда мы встретились, я был на перепутье: становиться “советским поэтом” со всей полагающейся прокоммунистической мишурой, или продолжать развиваться в том

ключе, в каком я начал развиваться. Но без надежды на быстрое признание, публикации, вступление в Союз писателей и т.д. Клав своим творчеством показал, что второй путь не просто более правильный, он – единственный.

...мои переводы стихов Клава нигде не публиковались. Клав был очень строг ко мне как к переводчику, мои тогдашние переводы не “дотягивали”. Что-то стало получаться, но он погиб... Стихи, включенные в “Неотправленные письма”, скорее, не переводы, а переживания...».

* * *

Вот и почту принесли почему-то к ужину
как раков подали к столу посылку с разбитыми мною
сердцами
я увидел их мерцающее отражение отвернувшись к окну
смотрел на поклоны кустов
ветру и по траве бегущие волны
тикали часы и печка тоже
и надо же было ворошить прошлое

Психи ненормальные станешь тут счастливее
от подобных посылок

Войдя

Войдя во Дворец Одиночества
(нигде никого, все тихо),
потрепав по щеке милягу
каменного льва,
постепенно определяюсь: так я один? В этом зале
за этим столом. И больше никого:
ни прислуги, ни... ну и вечер, муть голубая!

Такие здесь стены и сцены такие:
вот бабочка села на мраморный вьюнок,
и ей уже не взлететь с вязкой стены,
камень ненасытный ее поглощает.

В каменной пасти
одинокий, как бабочка, пью из большого бокала
до половины – черт с ним, до дна!

Но что это? Зал становится бесконечен,
и жизни не хватит долететь до дверей.

Мотив Шукшина

И высказивают мужики на середину комнаты –
и впрыскавочку
да с коленцами,
посередке поп лапотит
сапожищами –
половицы гнутся,
еле-еле уворачива-
ются.

Руки крыльями – пусти,
жизнь толсто-
мясая!
И толь-
ко вверх глаза,
где ты ж, истина?
Ах, как жалко жись, холеру неу-
давшуюся.

Пок-
лоны бить –
сдуру лоб расшибить.
Эх-эх, младшой,
да не будь лапшой,
без царя в голове,
без гроша за душой!

...По снегу в валенках, в серых катанках,
что ни шаг, то скрип, скрип пронзительный.
Разрыдаться бы душе проспиртованной...
Да гори она, как спирт, синим пламенем!

Голова Риги

Рига ночью – точь-в-точь голова
с пробором мерцающей Даугавы,
на которой ниспадают пряди мостов,
переходящие
в лунном сиянье
в запутанную седину улиц.

Густым гребешком грустных мыслей
хочу прикоснуться к тебе, о голова!
О моя Рига, не распутать, не расчесать
твоих каменных волос никакой расческой.

Только деревья,
мелькая за частой оградой сада,
словно меж двух половинок острых ножниц,
способны оттенить
зелеными, желтыми, красными и багровыми
цветами и оттенками
старинную строгость твоей седины.

Пусть в Пурвциемсе молодые деревья догоняют
каменные секвойи и баобабы.
Пусть тополей хлопотливые руки
перебирают фигурки уличных фонарей.

Зоологический сад

Это пони
маленькая серьезная лошадка
это ее тележка
утро колокольчик
день скрип колеса
вечер мартышка подсчитывающая выручку

полчаса до закрытия
а почки на деревьях все еще почки

был и я малышом с маленькой тележкой желаний
как вспомню
тепло нежности пробегает по стволу позвоночника
но всюду ограды и стены и потолки
за полчаса до закрытия
замру у вольера слонов в ожидании первых зеленых побегов

древо желания
древом познания
вдруг ощущаю себя и все же
дай на прощание словно рогалик мартышке
одного-единственного каприза исполненье

вымахав чувствовать всей корневою системой
токи земные воды подземные топот слонов муравьев
позывные
все это бесконечное и перемещение и коловращение
непоседливой ватаги существ с такими разными лапами
и такими задумчивыми лицами
с такими дрожащими замшевыми ноздрями
и такими трогательными на рассвете губами
с такими остроконечными горбами и острыми клювами
и такими близорукими под оптикой глазами
с таким беззащитным желанием жизни
которое бывает только у тех кто стремится быстрой
подрости

Залве

Покой. Лишь оттиск дерева в реке
колеблется, как стрекоза в полете,
в чьих крыльях, как в оконном переплете,
мелькают параллельные миры.

И ты стоишь, пришелец параллельный,
стог сена, над замедленной рекой,
соображая, как назвать покой
на языке грозы позавчерашней.

Вечер

Погибшим морякам

За полоскою отлива
светло-янтарный песок
чайки нетерпеливо
перекликаются на закате

Самый пронзительный крик
за можжевельник зацепится
словно тельняшки лоскут
треплется ветром треплется

Над полосой отлива
чайка настырная кружится
в куст можжевеловый всматривается
к шепоту волн прислушивается

* * *

Ояру Ваццетису

Пробираюсь сквозь
«Огня не разводите»
«Берегите лес от пожара»
«Огнетушитель и аптечка у водителя»
слышу поленьев стон
в раскачке сосен корабельных

В такие моменты у какого-нибудь поэта обязательно взрывается
сердце
и тогда новая Вселенная начинает пульсировать расширяясь

И люди не могут глаз оторвать от клавиатуры головешек
то озаряющихся вдохновением то замирающих на полуслове
слушают как мелодия света беседует с душою сквозь растопыренные
пальцы

в потемках пепельных
когда землей угольки твоих глаз закидывают

Но в новой Вселенной
на новой Земле
наверняка найдется местечко
где будешь стоять
на волнистом лугу
охваченный молодыми побегам и листьями
зная что как только осенние ветры раздуют сиплые меха
все что растет затрепещит займется запыльхает на все лады

Вот отчего сегодня так зябнут руки мои
и сердце пульсирует словно Вселенная перед взрывом

3

Я писал тебе, Клав, что мы виделись
первый и последний раз в жизни.
Ты отвечал, что жизнь большая
и что я ошибаюсь.
Ты прав.
Жизнь большая,
поэтому рано или поздно я приду к тебе и скажу:
«Жизнь большая, Клав, вот мы и встретились».

Ты писал мне:
«Отчего Ты так уверен, что мы тогда,
год тому назад, виделись в первый и в последний раз?
Я не столь мрачно настроен».
Конечно, там, где ангелов горний полет
над лугами, залитыми вечным сияньем,
какое может быть мрачное настроение?
Тем более что рано или поздно я приду к тебе и скажу:
«Вот мы и встретились, Клав, ветер переменялся, и тучи
рассеялись».

И мы опять заведем разговор о латышском лете,
таком тихом и спокойном,
что в нем тайфунов почти не бывает,
и я снова скажу, что Латвия – не Приморье,

что у вас тайфунов вообще не бывает,
и буду прав, однако...
Ты расскажешь, как на севере Латвии
прошел ураган, поднявший на небо
вот этот дом, в котором мы сейчас беседуем,
вон того теленка, которого сейчас гладят ветры, южный и
северный.

Ты писал мне:
«Передай поклон Любе. Пиши.
Я твои письма
жду больше,
нежели тебе может показаться.
Спасибо за переводы и акrostих.
Уверен, что увидимся.
Когда-нибудь».

Когда-нибудь
наступит когда-нибудь.
Теперь я тоже уверен, что мы с тобою обязательно увидимся.
Рано или поздно я приду к тебе и скажу:
«Знаешь, Клав,
а ведь до тех пор, пока мне не сообщили о твоей смерти,
ЦЕЛЫЙ ГОД
ты был еще жив».

Михаил Озмитель

Кружевница

Е.С.

...Под Воронеж мимо выгонов в снегу
мимо белых крыш и чёрных деревень
я не слышать стук коклюшек не могу
сквозь вагонную мирскую дребедень
то коклюшки стук-постук-да-перестук
узловых и перегонов переплёт

из туннелей вырывающийся вдруг
ледяной – до гор уральских – небосвод
стук-постук коклюшки вздох и перескок
кружевница заплетает кружева
чёрных речек дальних муромских дорог
вяжут вязко ворожеины слова
здесь у вязов воронёные стволы
а на окнах здесь чугунное литьё
в темноте твои запястия светлы
тянет ворона на горькое житьё
на огнище там горелая вода
под Воронежем бы ворону пожить
да коклюшки всё стучат и поезда
стук-да-стук-постук растягивают нить...

На объездной дороге Бишкек – Рыбачье

на этой дороге не очень заглянешь в себя:
сто двадцать – не меньше, но вдруг замечаешь:
душа не болит, а глаза равнодушно следят,
как лента колючая кольца теснее сжимает,
как мимо и пристально смотрит казахский солдат.
И давишь на газ и опять обо всём забываешь.

Граница. Таможня. Дунганки собрались к родне –
как ярко одеты! им рядом совсем – через речку.
смеются, нарядные... Нужно подумать и мне:
о том, как одеться, когда соберусь недалече...

... какие таможни меня ожидают и что мне надеть
перед встречей с тем, перед кем непременно предстану,

а слева колючка, нейтралка... и мысли. Но думать не смей,
что можешь, как раньше... Не смею. Не стану.

жужжит потихоньку бэушный помятый ниссан
по правую руку торгуют уйгуры – с полей и дешевле!

а слева – запретный теперь для меня Казахстан,
когда-то мы жили иначе: печальной, душевной.

а справа – всё пустоши, дальше – Китай,
но это чужое, а здесь всё такое родное:
звонящий от зноя и высохший трижды курай
а там далеко угасает закат над Окою...

когда-то здесь жили другие, и всё-таки – мы:
теперь города их под дикой, нетронутой глиной,
как зёрна, укрыты они – от кочевников и от чумы:
но мы прорастаем незримо, неукротимо.

здесь время не знает границы, хотя и оно
всего лишь граница. Он вечностью целой владеет.
Он ждёт, что взойдет и поднимет свой колос зерно,
которое Он у дороги проезжей настойчиво сеет.

Так надо... Прощайте, мои тугай*.
прощайте, туранги** седые косицы:
пора тормозить – скоро точка ГАИ.
мне нечем и незачем с ними сегодня делиться.

* Тугай - пойменный лес в Средней Азии

** Туранга - разновидность тополя, произрастающего в Средней Азии

Анастасия Лиене Приедниеце

* * *

растёт и длится утренняя высь
сомкни ресницы и разоружись
мы оба знаем – что такое счастье
не более – не менее, чем жизнь
ещё вчера – непрóчна и тонка
пуглива, ровно свет от ночника
сейчас она идёт по восходящей
как солнечная быстрая река

течёт и происходит: восстаёт
ломает лёд, опять ломает лёд
мы оба знаем – что такое чудо
когда оно – навывлет и на взлёт

сквозь ландышевый дол и тихий дом
собою накрывая – всё кругом
...и распадётся – брызгами салюта
...и возродится – в ком-нибудь другом

* * *

плещет парус весны
ветер летит высок
и рассыпает гальку
и холодит висок

медленны водяны
тянутся облака
знает ли сам февраль как
кромка его тонка

(кто бы сказал не тай
все говорят уйди)
чайка сидит на створе
пляшут осколки льдин

жёлтый кварц и янтарь
сходство но не родство
я сегодня друг моря
моря и никого

* * *

весенний ветер непривередлив.
пока мы медлим (зачем мы медлим?) –
все волны взбил, все сосны растряс.

зачем бросать в солёную пену
(пока ты смотришь недоуменно),
что занимает – меня – сейчас?

не то, насколько я сумасброден,
а кто запомнит: что происходит,
когда взмывает волна впотьмах.

и кто из нас – и зачем – обрящет:
насколько искренен уходящий –
и сколько мира в его руках?

* * *

я ничего не помню я чист и светел
нет на меня времён ни седых ни юных
хлещет сплошным потоком небесный ветер
травы клюют бока растаявшей дюны

я ничего не знаю я тих и лёгок
радость касаться скользя по корням и глине
дремлющих кверху дном деревянных лодок
стёкол обкатанных жёлтых зелёных синих

течь из болота до самого виднокрая
(радость смыкаться – земным и небесным рекам)
словно не изменялся переставая
словно и не был некогда человеком

Лана Степанова

Обратный ход

Когда-нибудь наступит час такой,
что море станет пенистой рекой
и побежит, журча, искать исток,
чтоб родничок зарыться в землю смог.

А яблоки, усеявшие сад,
на ветки яблонь медленно взлетят,
и будет воздух от цветенья прян,
ростки забьются в кожицу семян.

Закат переместится на восток,
придёт за Водолеем Козерог,
а люди, проживая день за сто,
вернутся в предзачатное ничто.

Вертя в руках бесформенный комок,
раздумает лепить Адама Бог
и бросит глину в пышный травостой,
тем самым завершая день шестой.

И не напишут Книгу Бытия –
безлюдны будут новые края,
где видов рыб, зверей и птиц не счесть,
а убивают – только чтобы съесть.

Яблочный пирог с корицей

Если мрак и грусть собирают дань, а уют наружу течёт сквозь стены,
пироги затевает она тогда. Тесто очень радо такой затее.

Перемято так, что уже пыхтит, под хозяйской скалкой лежит покорно.
Словно блин огромный оно на вид, но принять готово любую форму.

А потом его пробирает дрожь: на доске лежит и трясётся дрябло,
потому что фрукты идут под нож – килограмм антоновских кислых
яблок.

Кардамон с корицей весь дом могли б ароматной магией одурманить.
У хозяйки локон ко лбу прилип, и блестит испарина щёк румяных.

В кухне зной, как в Африке, духота. Принимает женщина их как
данность
и творит пирог вдохновенно – так, как Господь, должно быть, творил
Адама.

В духовом шкафу синий газ горит, пирогу быть пышным – с огня да с
пылу!
Поджимая хвост, отползает быт: здесь иные силы в игру вступили...

На тепло и жар, на хозяйкин взгляд (так смотрела Ева в долинах рая)
искры счастья бабочками летят и, касаясь кожи, не обжигают.

Прежние места

Стареет сад – спокойно, незлобиво,
весь в затрапезе сняти и крапивы,
и кажется, что яблоки стучат
печальнее, чем тридцать лет назад.
В нём спят... нет: медитируют деревья,
под августовским солнцем спины грея.

Уходит мир – мой личный, персональный
в фантомную реальность, царство навье,
а время драгоценные места
стирает, как полутона с холста.
Дуб спилен, пруд зарос, а дом заброшен.
Зачем пришла сюда жалеть о прошлом?
Хотя опять дожди грибные льются,
пестрит от георгинов и настурций,
сады не устают плодоносить,
и август увядающе красив,
мне кажется, что всё за грань стремится,
везде печаль, и я – её частица.

На реке

В июльский день на лодке плыли
мы по извиам тихих рек,
как в полусказке-полубыли,
вдали от всех.

Байдарка раздвигала листья,
и колыхались целый день
цветы кувшинок золотистых
в речной воде.

Тюльпаном солнце распустилось,
вода приумножала свет,
и вспыхивал болотный ирис
ему в ответ.

Вокруг летали эскадрилей
стрекозы, будто из стекла.
Мы плыли, отраженья плыли,
жара плыла.

Был плеск воды – такая малость! –
лекарством от семи скорбей.
В протоке небо колыхалось,
зовя к себе.

День вился, словно речка, длинный,
река – как тихий сон дневной.
Волнующе тянуло тиной
и глубиной...

Алексей Герасимов

ИЗ СБОРНИКА ПРОЗАИЧЕСКИХ МИНИАТЮР

«КАПЛИ»

* * *

Несколько лет назад на одной из вечеринок я носил некую Прекрасную Незнакомку на руках... Так уж получилось... Выпил... Расплясался... И вот уже несу на руках некую прекрасную незнакомку (момент знакомства, если он был, как-то выпал из памяти).

И мне нравится ее носить, и ей, видать, не противно. В один конец помещения отнес Незнакомку, поставил... Задумался... Опять поднял – отнес в другой конец... И так несколько раз, туда-сюда.

Но заметил, что некий субъект смотрит на эти перемещения с особым вниманием. Смотрит пристально, сурово, сузив глаза.

Я говорю незнакомке: “Этот вон... Смотрит так на нас...”

Незнакомка спокойно отвечает: “А... Это мой муж...”

Я поставил незнакомку на пол. У меня даже не хватило слов для возмущения! Я просто молча покинул ее. Нет, я понимаю... все эти “женские штучки”... мужа подразнить... Ну, ладно бы, легкий флирт, то да се... Но позволять постороннему мужчине носить себя на руках, это уже не легкий флирт! Это... Это флирт... тяжелый!

Я не избегаю дуэлей. Но, чтобы драться, нужны очень серьезные причины. А я не считаю каждую прекрасную незнакомку веской причиной для ссоры между мужчинами. Из-за каждой фифы драться – зубов не напасёсья!

И женщин украшает скромность. И если женщина с кем-то, то нефиг ей провоцировать других мужчин на рукораспускание.

Ну, ладно, проходит время, не более года, и О.С. мне сообщает: “Меня пригласили на день рождения. Но человек – малознакомый, компания неизвестно какая... И ехать за город... Впрочем, давай со мной, мне одной боязно...”

И я поехал эскортом.

Компания подобралась любопытная: хозяин – доморощенный философ, работающий при церкви дворником-плотником. Гости: художники, мистики, оккультисты. Какая-то поэтесса-авангардистка в кирзовых сапогах... Спорили о философии, религиях, искусстве... Пили портвейн и водку...

Компания в стиле “советский художественный андерграунд”. Я еще застал остатки таких компаний в начале 90-х. Я думал, что таких персонажей больше не существует: вымерли или стали “криэйторами” в рекламных агентствах. Но, нет, оказывается, не вымерли еще...

Но я не об этом...

За столом сидела та самая Незнакомка, которую я носил на руках – глазки потупила, эдаким цветочком невинным прикидывается. И ее Муж – на меня смотрит. Пристально. Не сказать, чтобы враждебно, но с некоторым напряжением.

Уже хорошо все поддали, и Муж подливает мне в стакан, и говорит: “А я помню, как ты мою жену на руках носил!..” И ухмыляется эдак... не по-хорошему.

Отвечаю: “Это было недоразумение... Если ты считаешь себя оскорбленным, прими мои извинения!”

Он мне: “Да, ладно... Я так...”

Вечер продолжается: пьем, коммуницируем.

Я пообщался с поэтессой в кирзовых сапогах, с мистиком-анархистом и с художником-окультистом... Понадобилось мне, извините, отлить. Выхожу из туалета и сразу сталкиваюсь с Мужем Незнакомки. Он уже здорово пьян, ухмыляется мне и произносит зловеще: “А я-я-я-я ведь по-о-о-о-о-о-о-мню, как ты мо-о-о-о-о-ю же-е-е-е-ну на рука-а-а-а-а-х носил!...”

“Ну, извини еще раз!..» – отвечаю, и иду мимо.

Вобщем, остаток вечера превратился для меня в сущий кошмар. Куда бы я ни шел, с кем бы ни разговаривал, что бы ни делал, сейчас же рядом появлялся Муж Незнакомки. Каждый раз он был все пьянее и пьянее, на ногах держался все хуже и хуже, язык его заплетался все больше и больше, а слюни изо рта текли все обильней и обильней. И каждый раз он, ухмыляясь зловеще, произносил одну и ту же фразу: “А ведь я помню, как ты мою жену на руках носил!...”

И даже если я в чем-то был виноват перед ним, то с лихвою в тот вечер искупил вину, проявив недюжинное терпение.

* * *

Иду мимо бара. Кинул взгляд на витрину и... поразился красоте баристы. Стою, рот разинул: “Богиня!!! Богиня...”

В романтической полутьме она производила некие манипуляции за

стойкой... На голове – дрэды, которых я не люблю, руки в татуировках, к которым я равнодушен, но все равно... неземная красота.

Богиня на меня тоже стала посматривать – с недоумением и легкой тревогой.

Я думаю: “Пусть я буду выглядеть полным идиотом, но я должен увидеть эту красоту вблизи – как в музее!..”

Захожу в бар, подхожу к стойке, смотрю... блин, за стойкой – парень. Смотрит на меня вопросительно, мол, что это за кекс такой с квадратными глазами?

Я вышел из бара несколько сконфуженный.

* * *

Мой утренний внутренний монолог по выходным дням:

«А ну встань и пиши! Пиши, гад... Лузер, ничтожество, тварь ленивая... Лермонтов в твои годы... Лермонтов в твои годы уже двенадцать лет, как был мертвым... А чего добился ты?! Так и будешь всю жизнь в ЖЖ мелочевку кропать?! Встань!!! Встань, слабак безвольный!..

Встал?.. Молодец! Попей водички, иди к компьютеру...

Куда-куда тебе сегодня надо?.. Еще раз повтори, куда тебе сегодня надо?.. Никуда тебе не надо! Лишь бы отмазку найти, чтобы ничего не делать... Садись и включай.

Включил?.. Молодец...

Жужжит?.. Хорошо!

Теперь новый файл открой. Так! Открыл?.. Хорошо! Фразу теперь пиши – первую, настоящую. Чтоб насмерть всех валила!..

Что значит, ты не знаешь, какую?! А кто знает?.. Кто это должен знать, кроме тебя, посредственность?! Президент Румынии?

Ну, ладно, ладно, не обижайся!.. Это я любя... Садись и пиши.

Пишешь?.. Молодец!

Ну и что ты там написал? Тэк-с, тэк-с... Ну-ка, ну-ка... “Меня зовут Родион Раскольников, я живу в Санкт-Петербурге”.

Что????????!!!!!!! Ты совсем уже сдурел, что ли?!

“Меня зовут Родион Раскольников, я живу в Санкт-Петербурге???”

А ну-ка удаляй это сейчас же!!!

“Меня зовут Родион Раскольников...” Позорище...»

А вечерами будних дней этот внутренний монолог повторяется. С некоторыми, правда, вариациями.

* * *

Каждый Новый год я “попадаю”. Это связано с моим участием в “елках”. В роли Кашея Бессмертного.

Начинаются репетиции. Кашей видит Снегурочку и понимает, что попал. То есть, пропал. Красавица и Чудовище – это классика, – меж ними, как водится, пропасть.

Кашей ломает трагедию, Снегурочка шутиливо расстреливает его тряпичными снежками. Ричард Третий обрыдался бы над таким сюжетом...

Но каждый раз как-то обходится. Или обходится малой кровью.

В этом году на роль Снегурочки подобрали двух актрис. Чтоб дублировали друг дружку. Мало ли что.

Кашей увидел Снегурочку №1 и понял, что опять попал. Потом он увидел Снегурочку № 2 и понял, что совсем пропал. Затем одна из Снегурочек вышла из проекта и ей нашли замену – Снегурочку № 3.

И когда Кашей увидел эту СНЕГУРОЧКУ, он понял, что на этот раз ему точно...

Какое, однако, эмоциональное оно чудовище!

* * *

После одной из “елок” ко мне подошла девочка в красном сарафане и с золотым кокошником. Уперла руку в бок и гордо, самоуверенно произнесла: “Русские народные красавицы кашеев не боятся!!!”

* * *

Школьник увидел меня в гриме, схватил мобильный. Радостно закричал в трубку: “Мама, мама!.. К нам в школу клоуны приехали!!!”

Никогда еще Кашей Бессмертный не был так глубоко уязвлен

* * *

В детстве у меня бывали нервные тики лицевых мышц, и заметные. Ничего не помогало. Привели меня в 13 лет к специалисту, который лечил подобную фигню внушением под гипнозом. Этот врач, психиатр и нарколог, работал в знаменитой рижской дурке на ул. Твайку. Я пришел к нему на первый сеанс, он в это время дежурил на “телефоне доверия” (который располагался в этой же дурке).

Доктор предупредил, что дверь в больничный двор открывается

просто – пальцем. По двору бродили погруженные в себя, чуть-чуть сонные люди в полосатых пижамах и халатах. Я позвонил в дверь корпуса, открыла медсестра, повела меня по коридору. У стенок сидели на стульях квелые люди в пижамах. Некоторые тихонько беседовали с грустными людьми в обычной одежде, очевидно, с родственниками.

Мой доктор сидел в небольшой комнате и говорил телефонной трубке: “Да, да... это очень интересно!..” Положив трубку, он заметил: “Опять подростки... Балуются... Мяукали... А это гораздо лучше, чем если просто молчат!”

На влажном оконном стекле пальцем была нарисована голова лысого мужчины в очках. Вверх от лысины завивалась спираль, изображавшая, наверное, легкий дымок. Поскольку врач был лыс и очкаст, я предположил, что рисунок – его автопортрет.

На полу возле докторского кресла возвышалась кучка сигаретного пепла – высотой сантиметров в десять. Доктор аккуратно стряхнул на кучку еще один столбик пепла. Я уставился на его дымящуюся сигарету. Я не курил, но меня завораживал огонек.

Доктор спросил:

– Куришь?.. На!.. – и пододвинул мне пачку “Кента”.

Я отрицательно мотнул головой. Доктор спросил:

– Как тебе наш дурдом?

– Ничего... – ответил я. – Интересно!

– Вот именно! – вздохнул доктор. – Вот именно...

И уставился мне в глаза немигающим взглядом (доктор потом научил меня, как можно долго смотреть, не мигая, он вообще многому меня научил).

А после длительной паузы спросил:

– Ты доволен своей половой жизнью?

– Чиво?..

– Ладно, понятно... Мне надо выйти минут на десять, ты подожди...

Если будут звонить, – можешь взять трубку и помякать в нее!.. На вот – книжку полистай!.. – он протянул мне толстый и широкий том.

Книжка оказалась учебным пособием по психиатрии. С множеством иллюстраций – фотографий душевнобольных людей с различными диагнозами и в различных стадиях умственного разложения. Таких книжек не продавали в магазинах, и в библиотеке мне такую не дали бы,

– и я увлекся. Несмотря на повышенную тревожность, я не испугался жутких физиономий, и разглядывал их с интересом. Я много чего боялся тогда, например, – лет до 8-ми я боялся, что на нашу страну нападут полчища мамонтов и всех растопчут, а лет до 13-ти я боялся людей в классических костюмах (но при этом, однако, не боялся одетых в костюмы джинсовые), – но кошмарные изображения меня никогда не пугали (а еще я мог хладнокровно убивать деревянной колотушкой карпов, и меня всегда просили их убивать, только у меня, малолетнего, поднималась рука на живую, щевелящую хвостом и открывающую рот рыбу; а еще я рано научился мастерски ставить медбанки, что также требует спокойствия и уверенности).

Вернувшись, доктор пригласил меня в кресло и погрузил в гипнотический сон. Мне понравилось: я на высокой скорости гонял по своим венам в герметичной прозрачной капсуле.

Уходя, я спросил его: “А почему психбольные, которые бродят по двору, не убегают, если замок открывается так легко – пальцем?”

Доктор ответил: “Потому что они не могут до этого додуматься...”

От тиков он меня избавил за несколько сеансов.

* * *

Есть у меня приятели, которые утверждают, что за ними следят некие спецслужбы – прослушивают телефонные разговоры, читают э-почту, изучают страницы в соцсетях.

И всем кабакам, пивным, барам, кафе, в которых встречаются мои приятели, они дали условные названия, и, назначая встречу, сообщают друг другу, например, так: “Сегодня в 18. 30. у тети Глаши...”

Одно из таких заведений они мне показали и даже сказали, что называют его “У майора Матрешкина” (я не буду сообщать, где это, а то вдруг и меня спецслужбы пасут! да, вобщем-то, в метафизическом смысле “они” всех нас пасут...)

А недавно меня, – уже как своего, – тоже позвали:

– Встречаемся через 20 минут у подполковника Матрешкина!..

– Вроде бы он майором был?! – удивился я.

– Повысили...

* * *

Вышел сборник (текстов, скажем так). Надо бы, как полагается, обмыть издание. Но вот заковыка – половина авторов терпеть друг

друга не могут. Более того, и видеть они друг друга не хотят, тем паче за один стол садиться. А если их все же усадить за один стол, то после нескольких рюмок, возможно, начнется кровопролитие.

Редактор-составитель в затруднении: с каждым, что ли, по отдельности обмывать?.. А печень-то не железная.

МОЦАРТ-УБИЙЦА, ИЛИ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ – КРАСНЫЙ

Рассказ

О смерти Эдуарда я узнал из новостей на портале «Шум и вибрация». Я не интересуюсь новостями, но на страничке, где моя электронная почта, с правой стороны всегда бежит лента заголовков. «Единственный сын бывшего депутата государственной думы, предпринимателя N-ского погиб в автокатастрофе». И я, конечно, навел курсор и кликнул... Люди, с которыми вы провели долгие годы вместе, люди, которые считаются вашими закадычными друзьями, не каждый день разбиваются насмерть!

С Эдуардом последний раз я виделся вечером – за пару часов до аварии.

Подробностей СМИ не сообщало. Мне позвонила Лека, но она могла лишь скулить и всхлипывать, а через пару минут прервала связь. Подробности я узнал только после похорон.

Я не хотел его смерти. Но так уж получилось.

Мы познакомились в студии рисунка и живописи при юношеском Доме творчества. Мы были ровесниками, единственными мальчиками среди художественно одаренных дев, и, естественно, стали общаться, а потом вроде как и подружиться. В студию Эдуарда привела мама, он упирался. Я пришел сам, и частенько убежал из дома на вечерние занятия тайком. Мне приходилось спускаться по пожарной лестнице с третьего этажа, потому что у дверей стоял, закрывая выход, покачиваясь, пуская слюну и рыгая, пьяный отец. Он держал в руке скалку моей младшей сестренки и, обращая то к шифоньеру, то к настенному бра, произносил монолог о том, что мужик должен заниматься делом, а не малякать глупые картинки. Сам-то он становился,

когда трезвый, даже работающим, только нашей семье от этого не жилось сытнее: скакалка, которой он меня лупил, была чуть ли не единственной игрушкой моей сестры, а бумагу, карандаши и краски я таскал из школьного кабинета рисования. Матери моей было не до меня, – куда я там бегаю вечерами: рисовать, играть в футбол, бить стекла или нюхать клей, – она искала для семьи пропитания и возилась с малой дочерью.

Родители Эдуарда, – как я понял много лет спустя, – мнили себя художественными натурами, чей творческий потенциал так и остался, по ряду причин, нереализованным. И они мечтали о том, чтобы их отпрыск нашел себя в области искусства. Они внимательно наблюдали за младенцем Эдуардом, ища в нем крупницы таланта ну хоть к чему-нибудь, но Эдуард рос совершенно обыкновенным мальчуганом, склонным разве что к дворовым проказам. И когда однажды, в возрасте лет десяти, он неожиданно для всех накалякал к 8 марта корявенький, но трогательный портрет своей мамы, все умилились, всплеснули руками и, ведомый за руку, с рисовальными принадлежностями в ранце, Эдуард появился на пороге студии. Примерно в одно время со мной.

Рисовать я начал раньше, чем возненавидел манную кашу. Рисовал все, что попадалось на глаза, и все, что мог вообразить. Руководительница студии – божий одуванчик, первым делом начала учить нас рисовать простые фигуры. Она говорила, что рисовать простые фигуры – это очень сложно. А сложнее всего – нарисовать круг, идеальный правильный круг. Добавила, что в Японии все художники, даже самые прославленные, учатся рисовать круги всю жизнь...

Тогда я взял мягкий карандаш и, не отрывая грифеля от бумаги, мгновенно, одним плавным движением начертил круг. Хоть циркулем проверяй! Божий одуванчик сказала: «Невероятно!» Тогда я внутри первого круга начертил второй, поменьше... а потом снаружи первого – третий, побольше. Все три фигуры имели форму идеальной окружности и располагались друг от друга на расстоянии ровно в два сантиметра. И линии окружностей были ровными-ровными, совсем без холмиков и впадинок. Я мог бы от руки рисовать мишени для тира и их с трудом отличили бы от печатных!

Твердые руки. Хорошая связь между мозгом, глазами и телом. Я мог бы стать, например, хирургом. Или фехтовальщиком. Или снайпером.

Снайперы тоже ведь маленького росточка. Но помимо цепкого взгляда и верных рук природа наградила меня буйным воображением. Разнообразные видения, – порою навязчивые и болезненные как галлюцинации, – представлял я в своем воображении, изображал их в красках на белой плоскости листа.

А Эдуард?.. А что Эдуард!.. Эдуард даже прямой горизонтальной линии провести не мог! Вместо линии у него получались то холмы, то лошадиный круп.

И все-таки... когда он появлялся в студии – всегда аккуратно причесанный, хорошо одетый, румяный, круглощекий и улыбчивый, часто с шоколадными конфетами или другим угощением «от мамы для всех» – и руководительница, и девочки-студистки, расцветали и улыбались ему в ответ: «Ах, Эдик!.. Ах, Эдичка!!! Ах, Эдуардик...»

А мне никто никогда не улыбался. И я не улыбался никому. И угощения для всех я в студию никогда не приносил. Я вообще шоколад-то впервые попробовал именно в студии – тот шоколад, которым угощал нас Эдуард Распрекрасный. Меня он при этом похлопывал по плечу – сверху вниз; он вряд ли хотел меня этим унижить, за снисходительным жестом скрывалась искренняя доброжелательность, но Эдуард был намного выше меня, и жест воспринимался мной, как покровительственный, этот жест раздражал меня, мне казалось, что таким образом сытый барчук демонстрирует свое превосходство надо мной.

Угрюмый, худющий, низкого роста, с вечно заложенным длинным носом, с обветренным лицом и руками в цыпках, я садился поближе к окну, где больше света, и рисовал: рыб, птиц, собак, небо, море, лес, самолеты, людей; рыб в океане, и самолеты в небе, и разноцветнопарусные яхты в море, и фруктовые деревья в саду, и людей на велосипедах, и акробатов в золотых трико под черным куполом цирка, и собак, бегущих по полю рядом с детьми, и кошек на руках у овалоликих девушек, и девушек, летящих на дирижаблях в открытом космосе среди пушистых или колючих звезд...

Божий одуванчик рассматривала мои рисунки, удивлялась, говорила: «Хорошо! Даже очень!.. Природное чувство формы и цвета...», – затем обращалась к Эдуарду: «Ну, как у тебя дела?..» А Эдуард, как всегда, вымучивал на ватмане, – то и дело отвлекаясь на болтовню с девчонками или откровенно скучая, – кривоватую вазу с цветами,

которые, казалось, уже выросли мертвыми, или аквариум с рыбками, похожими на хвостатых тараканов, а затем заляпывал эти неуклюжие рисунки бурыми, серыми или грязно-желтыми пятнами. «Ну-ну...», – говорила божий одуванчик и осторожно касалась ладонью Эдуардовой макушки.

После восьмого класса я пошел учиться в строительное ПТУ. Зачем? Не зачем, а почему! Потому что в это ПТУ никто не хотел поступать, и учащихся заманивали стипендией плюс заработками во время практики. В училище кормили два раза в день за бесплатно и даже выдавали синюю форму и тяжелые уродливые ботинки. И я подал в училище документы, потому что материальное положение в моей семье было, мягко говоря, тяжелым, а честно говоря – ужасным. У меня имелись только одни дешевые брюки, да и те залатанные. Единственные ботинки, купленные в разделе уцененных товаров, носимы были мною и в мороз, и в жару. Плюс пара выцветших маек да синтетическая зеленая кофта с молнией, да полосатая вязаная шапочка-презервативчик, да болоньевая куртка отвратительного поносного цвета. Один из школьных остроумцев так и сказал про меня: «Как елка: и зимой и летом – одним цветом!» – намекнув на то, что я одет всегда в одни и те же шмотки. Более благополучные одноклассники тут же подхватили эту фразу, меня прозвали Одноцветным. А то, что в моем воображении сменяли одна другую причудливые фигуры, имевшие пять сотен оттенков, никого из них не интересовало.

Вот, где меня не дразнили, так это в художественной студии. Нельзя сказать, чтобы я очень там кому-то нравился, но от моих работ все приходило в восторг. Они ведь разбирались... и я, как рисовальщик и колорист, пользовался определенным авторитетом. «Учись дальше... – говорила руководительница. – Не зарывай талант!» Ха! Лишние слова... Да, если бы я и захотел зарыть свой талант, то он, талант, не подчинился бы мне!

О трех годах учебы в ПТУ писать особо нечего, да и не хочется. Несмотря на двухразовое питание и бесплатные ботинки, училище не пользовалось популярностью у школьников, зато имело дурную славу: там собралась, кажется, вся городская шпана, которую больше никуда не брали. Учиться было легче легкого, требования были минимальные. На переменах я дрался с лихими пацанами, точнее – меня били, какие там драки, это не мое призвание. Но от побоев я

не сник, а как-то, наоборот, закалился шкурой и нравом, и к концу второго курса развеселая шпана оставила меня в покое. Практика на производстве приносила хорошие, для подростка, деньги, хотя работа казалась мне отвратительной: смрад, грязь, грохот, на стройке из-за цементной пыли я чихал приступами – по сто раз подряд, буквально, до крови из носу, а после смены в деревообрабатывающих мастерских стружками и опилками были забиты даже тусы.

Но вечерами я бежал в художественную студию – в единственное для меня райское место на земле!

За год до окончания ПТУ я записался на подготовительные курсы при Академии художеств. И встретил там Эдуарда. Родители сказали ему: «Твое дело – учиться, остальное мы обеспечим». Он всегда был равнодушен к искусству, но на подготовительных курсах начал входить в роль художника, и эта роль ему пришлась по душе. Может, ему следовало бы податься в актеры? Высмотрев в каких-то альбомах парижские фотографии начала 20-го века, он скопировал у богемы Монмартра манеру одеваться: черную бархатную шляпу своей бабушки он переделал в мужскую, отодрав от нее ленту с бантом; прикупил на барахолке древнюю, но еще крепкую шинель австро-венгерской пехоты, а в антикварном магазине – серебряный перстень с черноватым самоцветом; некая частная мастерица связала ему шарф шириной в полметра, а длиной метра в три. Эдуард отрастил волосы до плеч и короткую узкую бородку. В широкополой шляпе, сдвинутой на затылок так, чтоб были видны соболиные брови, с бутылкой красного импортного вина в глубоком кармане шинели, – и часто уже под хмельком, – обернутый шарфом, концы которого при ходьбе разлетались в стороны, с потертым этюдником на ремне, с летящими над плечами каштановыми кудрями, он, долговязый и стройный, гордо являлся в Академию, и был, надо признать, неотразим. За год обучения на подготовительных курсах лучше рисовать он не стал. Измерял линейкой, угольником и циркулем детали и соотношения между ними на картинах признанных живописцев, и пытался копировать композиции, но дело-то не в сантиметрах!

Жизнь художественной богемы имеет множество привлекательных сторон, и Эдуард в эту жизнь окунулся по макушку. Его родители, не различавшие границы между тяжелым трудом живописцев и романтическими приключениями бесплодных околхудожественных

бездельников, приветствовали наконец-то проявившийся интерес сына к миру искусства. В это время они стали приглашать меня, как Эдуардова однокашника, в дом – к обеду или на ужин. Но, как сейчас понимаю, вел я себя совершенно некомичливо: делал вид, что мне не по вкусу блюда, которыми меня угощали, – хотя ничего более вкусного я раньше не едал! – а когда отец Эдуарда, шишка на большом предприятии, начинал хвалить какой-нибудь фильм или спектакль, я брезгливо кривил губы и заявлял, что подобная претенциозная халтура – для обывателей; когда же мать Эдуарда, преподаватель университета, предлагала мне полистать художественные альбомы – прекрасно, малыми тиражами изданные, ценные и редкие, с репродукциями картин первоклассных мастеров! – я бурчал, что все эти художники – дутые фигуры, что они и при жизни-то были творческими мертвецами, а теперь и подавно... Меня раздражало и злило благополучие этого семейства, их барственность, уверенность в себе, почти неограниченные возможности, созданная ими комфортная атмосфера светской доброжелательности. Чувствовал ли я фальшь в их манере общаться, или просто завидовал тому, чего был лишен? Не знаю... Эдуард, всегда относившийся к родителям с иронией, лишь посмеивался. Но в дом меня приглашать все-таки перестали.

Смену власти в стране я бы мог и не заметить. Советская власть мне никогда не мешала. Немножко даже помогала: платила стипендию в учаге, например. Академия бурлила, многие преподаватели и студенты ходили на манифестации, а до меня лишь долетело, что общественный строй у нас сменился – будем теперь жить при капитализме! – но я только махал кистью, накладывая на холст маслянисто блестящие мазки. Всегда любил яркие, глубокие, насыщенные цвета. Особенно – все оттенки красного!

Жить стало трудней, общество трясло, многие скатывались до нищеты, но я ведь никогда и не валялся в жиру. Узнал, что учебные места в вузах теперь будут делиться на платные и бюджетные, но был уверен, что получу на экзаменах отличные результаты. Преподаватели на курсах были уверены в том же. Но бюджетное место мне все-таки не досталось. Я не дотянул по общеобразовательным предметам. Так мне сказали. Но это же полная чушь! Основные в творческих вузах – экзамены по творчеству. А экзамены по общеобразовательным предметам играют вспомогательную роль: вытянуть нужного аби-

туриента... или, наоборот, срезать неудобного... Интриги, манипуляции, социальные игры... Преподаватели при встрече со мной отводили глаза, абитуриенты, не знаю, насколько искренне, сочувствовали – все ведь понимали, что если не я достойный, то кто же!

Эдуард поступил, и ему досталось бюджетное место.

Я тогда впервые надрался в зюзгу и заблевал весь коридор. Мать воскликнула: «Ну, вот, еще один алкаш в доме!» – но она была не права. Многие дети алкоголиков получают в наследство ген пьянства, но я был из того меньшинства, у которого выпивка всю жизнь вызывает отвращение. Даже на богемных вечеринках, в которых я изредка участвовал, в моем стакане плескался апельсиновый сок, – а я делал вид, что там «отвертка».

Никогда ранее судьба не проявляла своей несправедливости ко мне так явно и жестоко. Отец Эдуарда остался таким же важным шишкой, но уже на частном предприятии, и был, наверно, в состоянии оплачивать учебу сына где угодно.

Позже я узнал о некой системе ротации... Эдуард стал студентом Академии художеств, а отпрыск кого-то из преподавателей Академии – студентом университета, где преподавала мать Эдуарда. Иногда такие схемы бывали сложней и ветвистей...

Мне едва хватало денег на кисти, бумагу и краски. Спросите любого художника, во сколько ему обходятся все эти принадлежности!

Меня пытались утешить тем, что я смогу посещать все занятия и лекции – вольнослушателем, а там... как-нибудь все устроится... может, кого-нибудь отчислят... может, деньги найдутся...

Ну, вольно, так вольно, выбора у меня все равно не было.

Тогда же в нашем студенческом кругу появилась Лека – бледный лепесток, подражавшая то ли прозрачным кокаинеткам Серебряного века, то ли распутно-хищным созданиям эпохи джаза. Она устроилась в Академию натурщицей. Но вряд ли ради заработка, весьма скромного. Ее, как и многих, привлекала романтически-беспутная атмосфера художественной среды, она, как и многие, не жила искусством, а играла некую роль.

Лека увлеклась Эдуардом, что было предсказуемо. Он написал ее портрет – скучный, как и все, что выходило из-под его кисти. Эльфоподобную, загадочную Леку он изобразил эдакой селедкой в крепдешине. Селедкой с пернатой шляпкой на сизой голове, селедкой

с выпученными мутными глазками, прикрытыми вуалькой. Лека пришла от картины в восторг – как современно, как небанально, как провокативно, сказала она!

Я тоже, пользуясь эскизами, сделанными на занятиях, написал несколько портретов Леки. Она скользнула по этим картинам равнодушным взглядом. Бросила только, слегка недовольно: «Почему это я у тебя вся в красном! Я никогда не носила красное!.. И мысли у меня не возникнет – красное надеть! И даже мои светлые волосы на этих твоих портретах почему-то отливают краснотой...» Тогда я понял, что Лека ни шиша не рубит в живописи! И любит она вовсе не работы Эдуарда, а любит она Эдуардов успех. Неважно, что статус Эдуарда был пока довольно скромен – неизвестный, начинающий художник. Успешность часто бывает врожденным качеством, тогда она трепещет за спиной у человека, как крылья у бабочки. И эти невидимые крылья окружающие люди, особенно – женщины, чувствуют.

А я сумел не только передать изящество линий тела и лица Леки, не только тонкость, прозрачность ее кожи и сияние глаз, – это всего лишь дело техники. На моих работах не только чувствовалась аура обаяния, которую Лека распространяла вокруг себя. Я сумел сделать то, что и отличает произведение искусства от ремесленного изделия: отобразил женственную тайну своей модели, а точнее – я сначала выдумал эту тайну, а уже потом – отобразил. Лека, несмотря на декадентский флер, в котором она себя, настоящую, прятала, была обычной земной девушкой. Стиль поведения и манера одеваться, это ведь все внешнее – лицедейство. Расколоть эту скорлупу, – и принцесса эльфов тут же превратится в одну из миллионов женщин, которые ходят на работу в конторы и на фабрики, жарят своим мужчинам котлеты и подтирают задницы детям. Я выдумал, вообразил, нафантазировал тайну Леки, а потом каким-то чудом перенес ее на холсты. Мне и самому не ясно, как мне это удалось, – таким вещам не учат ни в художественных студиях, ни в художественных академиях. Потому что это не зависит от умения, а является чистым капризом Внеземного, которому вдруг, ни с того ни с сего, захотелось, чтобы один из лучей его света проник в наш мир через мои потрепанные, дешевые кисти.

Лека, как красивая, томная, изысканная девушка, понравилась мне с первого взгляда. Но после того, как она с таким убийственным пренебрежением отнеслась к моим работам, коих она была главной

вдохновительницей, я запылал к ней нешуточной страстью. Которую не имел ни малейшего шанса когда-либо утолить!

А Эдуард в процессе учебы открывал для себя дадаистов, сюрреалистов, кубистов, супрематистов, абстракционистов эт цетера: русский авангард, западный модерн, американский поп-арт, венский акционизм... Меряя широкими шагами пол своей мастерской, – родители арендовали для него просторную светлую мансарду в центральной части города, где он больше кутил с друзьями и пялил приبلудных девок, чем художествовал, – Эдуард, уже с утра слегка поддатый, откровенничал, отхлебывая красное сухое вино из горлышка бутылки: «... меня всегда раздражали вот все эти правила... перспектива эта лядская... пропорции... золотое сечение... сочетаемость цветов... светотень-муетень вот вся эта!.. ну, ты меня понимаешь?!»

А меня никогда никакие «правила» не раздражали, рамки, выработанные традицией, только помогали мне работать свободно, но я молчал, слушали кивал. А Эдуард продолжал: «Но когда я познакомился со всеми этими ребятами... Которые перевернули представления об искусстве на перекрестке веков... Я увидел, что можно делать и так!!! И это тоже – искусство?!» Эдуард протянул мне бутылку, я отказался, и он, задрвав голову, выхлебал остатки. Замечу, что выпивать он начал не от тоски, а, напротив – от избытка радости, чтобы еще более усугубить свое удовольствие от процесса жизни. Затем Эдуард сдернул с мольберта испачканную пятнами масляной краски тряпицу, и я увидел его новую вещь – жалкую, нелепую мазню: фиолетовый квадрат, имевший по углам четыре женских глаза с длинными ресницами, был забрызган более светлыми кляксами... Я внутренне рассмеялся: «Квадрат – это понятно от кого... Квадрат с глазами, это, очевидно, нечто сюрреалистическое... Ну, а беспорядочные кляксы, это, скорей всего, влияние Поллока... Хоть бы краски, что ли, поярче выбрал?.. Но и цвет ты, впрочем, никогда не чувствовал!..»

В этот момент мне даже стало жаль Эдуарда немножко. Я подумал, что «все эти ребята», действительно, были новаторами – в свое время, искренние в своем желании революционизировать. Лучшие из них не оглядывались ни назад, ни по сторонам – к какому бы новому направлению примкнуть, они сами создавали эти направления. И при этом рисковали: подвергались насмешкам, терпели непонимание, презрение со стороны общества и большинства коллег, преодолевали

хроническую нужду. Среди «ребят» имелись и очень талантливые и не очень талантливые, кто-то из них хорошо владел традиционной техникой, кто-то не очень хорошо, но все они больно тыкались носами в неизвестное, нащупывая новые пути. Набивали при этом шишки, обдирали кожу. И без особой, кстати, надежды на признание. На фотографиях той эпохи видно – молодые художники-новаторы, ставшие позже классиками, одеты в такие штаны и рубахи, которые сейчас и бомжи постыдились бы носить; Пикассо первые хорошие деньги начал зарабатывать только после пятидесяти лет; Хуану Миро идеи его картин являлись во время голодных галлюцинаций...

Эдуард сам признался в творческой трусости: «...я посмотрел и увидел – можно и так!..» То есть заявил, что идет по уже протоптанной кем-то тропе, а не храбро прокладывает свою – уникальную.

Моя жалость к нему усилилась: тебя же высмеют, дурачок, стоит тебе только предъявить знатокам серию таких глазастых квадратов... или чего ты там еще сумеешь намазать!

Но Эдуарда, к моему удивлению – и, признаюсь, расстройству! – не высмеяли. Чудесные невидимые крылья успеха, доставшиеся ему от рождения, спасли его... Преподаватели с серьезным видом изучали его холсты и делали снисходительные, но вполне доброжелательные замечания. А сверстники-студенты объявили творчество Эдуарда «актуальным и прогрессивным» и негласно признали его лидером какого-то новейшего течения, которому пока еще не придумано названия.

Я недоумевал, – и, признаюсь,... злился: что они нашли там прогрессивного, если всем этим приемам уже больше сотни лет??!! – думал я. Попытался высказаться, но по взглядам собеседников понял, что моя честная критика будет понята, как симптом тяжелой зависти. И решил молчать: я ведь и так не пользовался особой популярностью, и меня терпели в компаниях только... как старого товарища Эдуарда.

А барчук наш на третьем курсе увлекся перформансами, арт-акциями, хэппенингами. И показал себя хорошим если не режиссером, то организатором масс. Массы, как намагниченные, тянулись за мерцанием крыльев его успеха!

Как раз закончилось строительство нелепого, – но дорогого и амбициозного – проекта городских властей – новой пинакотеки. Многие недоумевали: а чем же плоха старая?! Стреляные воробьи им

объясняли: любая ремонтная или строительная работа – это лучшая стиральная машина для отмыва черного бабла, каталка для левых откатов. Новая пинакотейка – на редкость аляповатое сооружение, похожее на покореженный кубик Рубика, по которому треснули молотком, но до конца так и не разбили...

Старая пинакотейка располагалась в здании нашей Академии. Инициаторы строительства новой утверждали, что, мол, старая слишком мала, не отвечает современным стандартам и уже не годится для хранения полотен. Специалисты с этим не соглашались, но их мнение, как водится, не учли. Новую выстроили далеко от Академии – за рекой. Но, спрашивается, кому там нужна новая пинакотейка, если кроме студентов и преподавателей Академии, а также искусствоведов, старую никто никогда не посещал?

Требовалось перевезти сотни полотен с правого берега на левый. Эдуард загодя подал проектную заявку в департамент мэрии, занимающийся вопросами культуры. Идея такова: участники акции, в первую очередь – студенты, преподаватели, а так же добровольцы из горожан, выстраиваются в плотную цепочку от старой пинакотейки до новой, и передают картины из рук в руки... В мэрии от такой идеи пришли в восторг: как креативно! как необычно! как ярко! прекрасные полотна будут перемещаться через весь город, радуя глаза прохожих! это привлечет внимание туристов и прессы! – и поддержали проект материально. А сотрудники пинакотейки пришли в ужас: как?! с ума, что ли, сошли?! картины, это ведь не дрова!.. их следует запаковывать особым образом и перевозить с осторожностью!.. а если по пути их начнут ронять?! а если вдруг пойдет дождь?! а если полотна захватают руками, порвут холсты, сломают рамы?! в конце концов, кое-что могут попросту украсть по дороге!

В письменном виде был выражен протест. Чиновники почесали макушки, согласились, что слишком поспешно одобрили акцию, но уж больно сюжет хорош!.. Тогда Эдуард внес в сценарий коррективы: старые и имеющие большую ценность полотна переместят по всем правилам, а по цепочке будут передавать только работы студентов, – это будет символично, это будет эффектно и со смыслом – искусство молодых в массы, так сказать!

Я, конечно, отказался участвовать в эдакой глупости, чем только усугубил свою отчужденность от однокашников, большинство из

которых Эдаурдову идею поддержали. Именно потому, наверное, что она Эдуардова!.. Попробовал бы я предложить что-нибудь подобное... Ха! Да меня б на смех подняли!

А Эдуард после удачного проведения акции сей отправился на летний семинар художников-акционистов, где, по его рассказам, неплохо провел каникулы.

Меня это не трогало, я увлеченно и с напряжением всех сил занимался любимым делом, но, когда Эдуарда по студенческому обмену отправили в Италию, а на мою заявку ответили отказом, я переживал очень тяжело. Попасть в Италию – это мечта для студента-художника! Увидеть ее небо, ее море, сады и поля! Вблизи рассматривать ее архитектуру! Посещать музеи и картинные галереи! Изучать великие шедевры живописи не по репродукциям...

У меня отняли то, что нужно было мне почти как воздух. А Эдуард в Италии изучал только загорелых сеньорит да алкогольную продукцию, о чем и поведал со смехом по возвращении.

На третьем курсе Эдуард, как перспективный студент, стал стипендиатом Министерства культуры, и почти сразу – получил разовый грант от частного культурного фонда. Зачем, елки-палки, ему стипендии и гранты, думал я с досадой и злостью, если у него есть такой папа?! В нашей Академии учились по-настоящему одаренные люди, которые испытывали материальную нужду. Вот уж точно, если кому отваливают, то по полной, а кому-то шиш да ни шиша!

Вскоре из-за пыльных кулис на сцену выполз Крысиная Мордашка – один из студентов искусствоведческого факультета. Обладая прятаки бабьим чутьем на прирожденно удачливых мужчин, он прилип к Эдуарду – вцепился коготочками и повис, дабы проехаться на чужом сильном загривке к собственному успеху. Крысиная Мордашка все произведения искусства называл «продуктами», а все творческие инициативы «проектами». Повторял, что «главное для серьезного игрока на современном арт-рынке – это узнаваемость его продукта и тиражируемость, узнаваемость и тиражируемость!» Посмотрев однажды на меня критически, заметил, что «сейчас художник, выглядящий, как художник, – смешон и нелеп, все продвинутые художники мира одеваются, как бизнесмены, спортсмены, деятели шоу-бизнеса, как угодно, но только не как «художники»». Дурацкое замечание: я одевался в потертые джинсы, растянутые свитера и обувался в солдатские бо-

тинки всего лишь из экономии, да и не думал я ни минуты о своем имидже, одет во что-то, мне сухо, тепло, удобно – и ладно!.. Но Эдуарду Крысиная Мордашка все-таки промыл мозги: Эдуард однажды сделал короткую асимметричную стрижку, выкрасил волосы в платиновый цвет, сбрил бороду, подарил широкополую шляпу и австро-венгерскую шинель труппе любительского театра, и стал носить одежду в стиле «U/C of Vt». Эдакий модный пластмассовый ди-джей!

Крысиная Мордашка, как и многие вокруг, полагал, что Эдуард и я – старые, близкие друзья. Это было неправдой: я ни с кем не дружил, не способен был на дружеское сближение по своей внутренней сути, а Эдуард... типичный сангвиник, он дружил со всеми, и со всеми одинаково, то есть – не очень глубоко. Мы просто были так давно знакомы, так хорошо знали друг друга, что наше общение в глазах окружающих вполне могло сойти за дружбу. Но Крысиная Мордашка, желая притереться к сверкающему удачнику Эдуарду – стать его пажем, холуем или, может, визирем при падишахе, или тайным советником, или серым кардиналом при императоре, уж и не знаю, кем! – почему-то воспринял меня, как главного конкурента себе. И совершенно напрасно: я дорожил товарищескими отношениями с Эдиком не больше, чем отношениями с любым другим человеком. И уж точно не претендовал я ни на какую должность, ни на низкую, ни на высокую, при нашем славном барине!

Крысиная Мордашка каждый раз пытался публично унижить меня. Суживая глаза, он презрительно цедил через тонкие, бескровные губенки что-нибудь вроде того: «Твои полотна напоминают цыганские платки и юбки! В глазах рябит!» – Сама по себе фраза не очень и обидная, но интонация, с какой она произносилась... С такой интонацией можно было бы сказать: «От тебя воняет дихлофосом!»

Уже на младших курсах у меня появился неплохой источник доходов. Однажды я написал акварелью канарейку своего соседа, картинку увидел родственник его жены, и заказал мне портрет своего попугая. И заказы пошли чередой: я писал акварелью или рисовал тушью домашних любимцев: птичек, рыбок, хомячков, морских свинок, собак, котиков, черепашек и даже тритонов, змей и гигантских улиток. Писал быстро, не за дорого, но часто, так что смог не только обеспечивать свои нужды, довольно скромные, но и откладывать на оплату учебы в Академии, – я перевелся на платное отделение, бюджетного места

для меня, вопреки обещаниям администрации, так и не нашлось. И я смог, наконец, уйти из опостылевшего дома, – снял под мастерскую деревянную халупу на окраине города: печное отопление, удобства во дворе, сквозняки изо всех щелей, но зато застекленная веранда, залитая днем лучами света, и печально-живописные полусельские пейзажи окрест.

Крысиная Мордашка на одной из студенческих вечеринок в мансарде Эдуарда, когда вокруг было полно романтических фей, – присутствовала в том числе и Лека, – не упустил случая съязвить в мой адрес: «Ничего... Путь в придворные живописцы может начинаться и с королевского зоопарка! Начал ты с домашних зверушек, когда-нибудь, может, получишь заказ и на портреты хозяев!..»

Я не подал виду, что задет – а я был задет! – допил свой сок, поставил стакан на пол у мольберта и, ни с кем не прощаясь, незаметно вышел... И перестал ходить на подобные вечеринки вплоть до выпуска. Я все равно скучал на этих собраниях, мне было жалко впустую потраченного времени, я раньше-то являлся на них только из-за Леки.

Некая бизнес-корпорация, в рамках своей рекламной кампании, предложила Академии провести выставку работ наиболее перспективных студентов старших курсов, и, естественно, я попал в их число. По совету преподавателей предложил одну работу маслом – «Дочь владельца кофейных плантаций, в ожидании корабля из Марокко с письмом от карточного шулера, выигравшего ее сердце», и два рисунка цветной тушью: «Гвардейцы кардинала ловят синицу, залетевшую в фехтовальный зал» и «Евнух целится копьём в бродячую собаку, забежавшую в сад гарема». Отнес работы в большой выставочный зал Академии, сдал их под расписку волонтеру из числа студентов искусствоведческого факультета – и забыл, окунувшись в работу над дипломным полотном «Восьмиклассницы, тайком перекуривая в школьном дворе, обсуждают внешность нового учителя физкультуры».

Мероприятие должно было широко освещаться прессой, на покупку какой-то части работ для своей коллекции корпорация выделила немалые средства, то есть эта выставка могла послужить хорошим карьерным трамплином всем участникам. Но когда я взял полистать только что отпечатанный каталог, то ни своей фамилии, ни репродукций своих работ в нем не обнаружил. Задал вопрос в ректорате, там

лишь развели руками: «Мы решили организацию студенческой выставки полностью передать студентам-теоретикам! И принципиально не вмешивались в процесс подготовки...» Я поинтересовался, кто же кураторы, и не особо удивился, узнав, что ведущий куратор мероприятия – Крысиная Мордашка. Давно было ясно, что его больше интересует не история и теория искусств, а практическая деятельность на арт-поле. «Почему?!» – спросил я его при первой же встрече, и он, ничуть не смутившись, ответил с уничижительной для меня интонацией, выдававшей в нем первостатейного психологического садиста: «Потому что в предложенных тобой работах... да и во всех твоих работах!.. нет ничего прогрессивного... Они совершенно не актуальны, да!»

У меня аж челюсть отвисла от такого наглого и, по сути, лживого утверждения. Я оцепенел, слова не мог вымолвить. Да, пожалуй, и не стоило в этой ситуации что-либо объяснять и доказывать. Я ведь тщательно просмотрел каталог с отобранными работами, я видел что кураторы сочли «актуальным» и «прогрессивным»: подражательные, вторичные вещи в абстрактном, гиперреалистическом стиле или в стиле поп-арт. И хорошо еще, если бы исполненные искусно, но многие и не очень-то искусно или совсем неискусно! И что в этом актуального и прогрессивного, если все это уже было??!!

Выставка, впрочем, имела резонанс. Работы, не приобретенные корпорацией-организатором, растащили по закромам частные коллекционеры, известные галеристы заключили с несколькими студентами контракты. Корреспонденты из СМИ, наверное, как всегда, ничего не поняли, и, выпивая на фуршете, как всегда, иронизировали по поводу «молодых художников», но, будучи щедро подогретыми отделом по связям с общественностью, отложили свои ядовитые жала в сторону, и дружно накатали слюняво хвалебные и при этом чудовищно глупые статьи.

А я надолго погрузился в тяжелую продолжительную депрессию. Из которой, конечно, выбрался, но с идеей-фикс в голове. Если раньше моя старомодность была стихийной, – я никогда особо и не стремился скакать вприпрыжку впереди планеты всей! – то теперь она стала осознанной. Я решил принципиально оставаться ретроградом, консерватором, традиционалистом, архаиком; игнорировать любые свежие тенденции, буде они конъюнктурные или нонконформистские,

не поддаваться их влиянию, избегать любой ангажированности, даже если она внешне и выглядит как бунт. Что бы ни творилось вокруг, какие бы «новые волны» не колыхали арт-рынок, – закупориться наглухо в своей раковине! И никогда не танцевать впрысдку вокруг влиятельных арт-критиков, меценатов и галеристов. «Даже если я всю жизнь проведу в бедности и в бесславии, я не сделаю ни шагу навстречу моде, современности, актуальности и прогрессу», – так думал я, и держал свой обет терпеливо и со смирением. Так же я решил избегать участия в любых творческих объединениях, будь они формальные или не формальные, хотя группа слабых художников, обычно, скорее привлекает внимание социума, нежели сильный, но одинокий автор.

И в результате моя самоубийственная, казалось бы, стратегия стала приносить со временем сочные и сытные плоды... но об этом позже.

В то же время, когда я, получив садистский укол от Крысиной Мордашки, страдал мукой непонятых и отверженных, Эдуард нашел собственную, как он говорил, «арт-фишку», которая позже и принесла ему определенную известность. Он вырывал из первого попавшегося глянцевого журнала какую-нибудь страницу с фотографиями неземной красоты дев, разрезал ее на одинаковые прямоугольники, перетасовывал их и наклеивал на лист А3 в произвольном порядке. Получившуюся «картинку» он, при помощи точной разметки по квадратам, один к одному, но в увеличенном масштабе, переносил на холст акриловыми красками. Получалась эдакое веселенькое и как бы шутовское изображение, но, поработав с тенями и бликами, Эдуард придавал картине атмосферу легкой тревожности. Ко дню выпуска из Академии таких работ набралось три десятка, – Эдуард еще ругал себя за леность, ведь, отработав технологию изготовления до автоматизма, он мог бы за то же время нашлепать запросто и три сотни! – и Крысиная Мордашка, выполняя роль арт-менеджера, организовал первую персональную выставку Эдуарда, которая имела немалый успех и у прессы, и у публики, и у коллекционеров современного искусства.

И вот со дня окончания Академии прошло – ох! – целых пятнадцать лет. Все эти годы я жил на окраине города, в покосившемся облупленном домике, который постоянно нуждался в хирургических вмешательствах. Я нанимался то кочегарить в зимних оранжереях, то дворничать в детском саду, то сторожить по ночам склады; а также вел кружки рисования при школах или частным образом готовил

юношей и девушек к поступлению в художественные училища. Был я, стало быть, последним из могокан – дворников и сторожей с творчески-интеллектуальными интересами; предыдущее поколение ушло, а в моем я, кажется, был единственным таким балбесом: все мои сверстники-однокашники более менее успешно вписались в рынок: кто не мог жить продажей своего искусства или не стал грантоедом, тот или верстал модные журналы и рекламные буклеты, или дизайнерски оформлял офисы, клубы и бутики, или пристроился при каком-нибудь муниципальном департаменте культурной «единицей» или функционером-куратором.

Мои полотна редко, но все же продавались. Я сразу установил на них высокие цены, не из жадности, конечно, и не из-за гордыни. А потому что вкладывал в каждую так много сил, времени, творческого напряжения, что дешевить было нельзя категорически!

Я даже получил некоторое признание в среде знатоков живописи, но только как очень умелый ремесленник, который в своем деле может буквально всё! Как большого и оригинального художника меня, кажется, никто не воспринимал.

Я избегал светских собраний и богемных тусовок; принимал лишь приглашения от Эдуарда – ради того, чтобы иногда видеть Леку.

Она стала его женой.

Ей привалил еще тот подарочек: довольно известный художник, чья известность, при соблюдении ряда условий, обещала пойти в рост, но выпивоха и гулена в левом направлении. Она страдала, и я это видел.

Страдал, кстати, и менеджер Эдуарда – Крысиная Мордашка. Время показало, что он, оказывается, поставил не на ту коняшку. Арт-бизнес может извинить производителю арт-объектов почти все: аморалку, скандальное поведение, вредные привычки. Даже ужасный характер и социопатию (этого, впрочем, в числе Эдуардовых минусов не имелось никогда). Даже полную бездарность может простить... Но если artist не продуктивен, если он дрыхнет у конвейера, вместо того, чтобы дисциплинированно шлепать артефакты, годные под каким-либо соусом к презентации и к продаже, то это причина для увольнения с kunst-фабрики. Причем – вместе с тем, кто его представляет... А ведь Крысиная Мордашка все эти годы носом землю рыл! Налаживал связи с хорошими галереями, втирался в компании к важным людям на арт-фестивалях, выбивал гранты, подкармливал журналистов.

Но его подопечный, привыкший с пеленок иметь крепкий тыл за спиной, не умел работать. Точнее, не умел работать систематично и целенаправленно. Копировать на холст разрезанные страницы гляцевых журналов ему надоело (хотя поляна-то будь здоров, топчи ее и в сто жизней не истопчешь!), а ничего нового он придумать не мог... Срежиссировал было перформанс: нанял двух юношей-боксеров, которые взяли в руки толстенные кисти, и сражались ими, прыгая на ринге, установленном посредине выставочного зала, нанося на тела друг друга яркие мазки черной, желтой, синей и зеленой краской. Зрелище имело успех, получило хорошую прессу, но прибыли не принесло. Эдуард попробовал заняться скульптурой: сваял из алюминия и пластика несколько невразумительных композиций, навеянных классиками конструктивизма, но Крысиная Мордашка буркнул раздраженно: «Такого гэ на арт-рынке, как блядей в Амстердаме!» – И галеристы, которым он все-же попытался втоухать объекты, сказали то же самое, только в более вежливой форме и спокойным тоном.

А Эдуард уже перешел границу, отделяющую радостное питание от тяжелой болезненной зависимости. Отец находил ему дорогих врачей, Эдуарда лечили гипнозом, таблетками, иглоукальванием, индийской гимнастикой, он держался пару месяцев, а потом срывался и уходил в еще более жуткий запой. Шел на дно. Терял дружеские связи и уважение. Лишился последних источников дохода, и жил с Лекой за счет своих родителей. Крылья успеха, данные ему в подарок с рождения, поблекли, ослабли и уныло повисли. Щедрый, роскошный дар не ценили, и поэтому подарок был отнят...

У Крысиной Мордашки закончилось терпение, и он взялся за промушн компании недавних выпускников Академии, которые уже громко заявили о себе: главным образом тем, что догадались вовремя объединиться в агрессивно-пробивную группу да придумали удачный – то есть трескучий и пафосный! – манифест «новому направлению в искусстве». Нового, оригинального у них, конечно, не было ничего, – все та же эксплуатация столетних идей авангардистов из кафе «Вольтер». Но энергичные, модные, позитивные ребята в качестве материалов стали использовать отходы, мусор, в основном – отжившие свое бытовые электроприборы, компьютеры, мобильные телефоны, мастера из них нечто блестящее, ажурное и не лишнее

даже некоторого дизайн-обаяния. Но главное, подвели актуальную теоретическую базу под свое штукарство: использование мусора – это борьба за экологию планеты. А экологичность, это ж нынче святой тренд! Хотя становится ли от этого тренда нашей планете легче дышать, – большой вопрос...

А Лека?.. Леке, конечно, жизнь с пьющим (к случайным женщинам Эдуард интерес, впрочем, утратил), – вдруг ставшим неудачливым и зависимым от родителей, – мужем, была не в радость. Пить, это тяжелая работа, но жить с пьющим, это мучительная каторга... я на собственную мать насмотрелся!..

Но и Лека была зависима: нежная, прозрачная богемная девочка превратилась в женщину тридцати пяти лет с неопределенно-гуманитарным образованием, никогда всерьез не работавшую, ничего не умеющую, кроме как принимать гостей на вечерних коктейль-пати. Ей бы уйти от Эдуарда... Но куда и кем? Нянечкой в детсад? Не привыкла к дисконфорту! Ей бы прилепиться к кому, но к кому? Она все еще очень эффектна внешне, но вокруг полным-полно красавиц, которые гораздо моложе... А в доме родителей Эдуарда ей ни в чем не было отказа: состоятельные старики были счастливы, что хоть кто-то не отвернулся от их сына... Еще, правда, имелся я... Меня снова, спустя много лет, стали звать в барский дом. Считалось, что я своей трезвостью и серьезностью могу положительно влиять на Эдуарда. Как это наивно!

За большим овальным столом мы раз в неделю чаевничали впятером, – в этом доме больше не держали спиртного, – и я старался не смотреть на Леку дольше пары мгновений, чтобы не выдать свою нестареющую страсть. Лека теперь красила волосы в черный цвет, она отрастила их и заплетала в косу.

Эдуард в такие вечера откровенно скучал. Прихлебывая лапсанг сушонг со сливками, почти не участвовал в разговоре, уныло пялился на обои с бронзового цвета арабесками, подперев ладонью слегка одутловатое лицо, – на переносице у бывшего романтического героя уже заметно краснели тонкие червячки-прожилки, но соболиные брови были по-прежнему хороши. Я знал, что при первой же возможности он улизнет из квартиры, зайдет в магазин, а потом прилепится к подходящей компании или высосет бутылку в одиночестве. Несколько раз его уже находили чуть ли не в канаве на городской окраине или в

подъезде соседнего с родительским домом в обнимку с отопительной батареей.

Совершенно неожиданно я стал получать многочисленные приглашения на участие в коллективных выставках. Мне не присылали подобных приглашений, кажется, лет сто! Крупный банк купил пару моих работ, стали проявлять интерес и частные коллекционеры, и я вдруг стал не богатым, но обеспеченным человеком в самое короткое время. Но даже образа и места жительства я не поменял, так я свыкся с положением бедного художника, и не понимал, на что мне тратить привалившие вдруг деньги, я ведь ни в чем особенном и не нуждался. Отправлюсь в Италию!.. – решил я. – Исполню давнюю мечту. И вообще поезжу по Европе – осмотрю все лучшие музеи.

Стали называть журналисты, просить об интервью, я по неопытности сначала соглашался, но, ознакомившись с публикациями, впредь отказывался общаться с прессой категорически. И прочел однажды о себе в Интернете: «Он выбрал довольно удачную стратегию автопиара: избегать журналистов, не появляться в светском обществе, скрывать подробности личной жизни. Это, конечно, только усиливает интерес к нему и к его креативу...» – ну и тому подобную чушь.

Но самое странное: на меня обратили внимание и в снобских арт-кругах. Называли: «Новатором, который ищет путь вперед через обращение к традиции...» – и так далее. Претенциозные шарлатаны радовали передовую общественность словесными соплями на полные журнальные развороты, пряча за обилием профессиональных терминов, путанными формулировками и акробатически сложным синтаксисом отсутствие острых и глубоких мыслей. Я скользил глазами по этим текстам, – и воображение рисовало мне засохшие кусты, облепленные старой паутиной, полной мертвых насекомых, – и пытался понять, что же все-таки хотели сказать авторы, ругают они меня или отвешивают комплименты.

Даже Крысиная Мордашка, раздобыв мой э-адрес, прислал письмо, в котором деловая вежливость непостижимым образом сочеталась с фамильярностью. Как ни чем ни бывало, как будто никогда не было его презрительно-надменного отношения ко мне, этот мерзкий крысеныш напрашивался в представители моих интересов на арт-рынке. Я думал не отвечать, но все-таки не сдержался и ответил. В моем письме деловая вежливость пародировалась и была по сути издевательской. Я

сообщил, что не нуждаюсь в представителе, так как мои интересы уже представляет некий галерейщик из Западной Европы. Что, кстати, было абсолютной правдой: я накануне заключил контракт с одной из лучших галерей Кёльна и на днях выезжал туда, чтобы готовить персональную выставку. Для моих работ понадобился целый фургон.

Поразмышляв над поведением Фортуны, я пришел к выводу: моя удача не случайна. Эдуарду невидимые крылья успеха достались от рождения, в подарок, он не ценил их, не берег и поэтому потерял. Я же, долгие годы терпеливо перенося нужду и бесславие, вырастил эти крылья: самоотречением, аскетическим подвигом ради искусства. Крылья успеха незаметно для меня самого выросли и окрепли. Мне оставалось только научиться с их помощью летать.

На очередном чаепитии у родителей Эдуарда я бросал на Леку уже более смелые и долгие взгляды. Я не стал сразу хвастаться своими успехами, но, несомненно, какая-то информация доходила до нее, и Лека теперь смотрела на меня иначе, чем всегда, более заинтересованно, что ли. Ну, еще бы – крылья успеха трепетали у меня за спиной, а женщины на их вибрацию особенно чутки!.. Перед уходом я сказал как можно более небрежно: «Уезжаю... Сначала в Кёльн, там надо готовить персоналку... Потом, думаю, попутешествую... около года, наверное. Буду слать сообщения. А как вернусь – сразу к вам!» И добавил через долгую паузу: «Странно... странно, что первая персональная выставка у меня пройдет не в родных краях, а за рубежом! Правда, ведь это очень странно?..»

Престарелые карьеристы тут же смекнули, что значат мои слова: я, наконец-то, пошел в гору, сдвинулось мое дело с мертвой точки, – и одарили меня чарующими улыбками вкупе с острыми неприязненными взглядами. Ведь если их сына взяли преследовать неведухи, то его прежде неудачливый товарищ не имеет права именно сейчас купаться в какао со сливками!!! В своем воображении я показал им язык и на всякий случай сунул руку в карман и сделал из пальцев фигу, чтобы многоопытные хапуги мои блестящие ажурные крылышки не стлазили.

Проводив меня до дверей, Эдуард с чувством сказал: «Я так рад за тебя, старина, так рад! Ты давно заслужил...» И я не сомневался в его искренности: он был вобщем-то хорошим человеком. Посредственным, но хорошим. И завидовать кому-либо был не способен... Я

толкнул дверь, Эдуард поднял было руку, чтобы, как всегда, похлопать меня по плечу, но, не достигнув верхней точки, рука его замерла на миг и устремилась вниз, и Эдуард просто крепко сжал мою ладонь. Я посмотрел ему в глаза: белки усталых глаз были красновато-желтыми, под глазами набухли темные мешки, а лицо в целом выражало глухую тоску.

Отсутствовал я в родном городе, примерно, год. Выставка в Кёльне прошла еще успешнее, чем прогнозировал директор галереи; продажей моих картин занимались теперь профессионалы, от меня ждали новых работ, и, набравшись художественных и жизненных впечатлений во время «дикарского» турне по Германии, Чехии, Франции, Британии, Голландии, Средиземноморью и Северной Африке, я вернулся в свой бедный домик на окраине. Мог бы теперь арендовать и просторную мастерскую-студию с широкими окнами в потолок, и хорошую квартиру для проживания, и даже отдельный дом. Но я так привязался к своему старому жилью и унылым, запущенным окрестностям, что решил повременить. Думал: закончу на прежнем месте хотя бы с десяток картин, а там видно будет. Деньги тратить на себя я, конечно, не умел совершенно! Этому еще предстояло научиться. А пока я назначил матери и сестре-первокурснице «пенсию» и «стипендию» имени себя, а также подарил неизбалованной родителями сестрице малолитражную автомашину, «бздюху», как сестра ее ласково называла. Отец умер как раз в тот день, когда я начал серию одиноких экскурсий по Ватикану, но на похороны я не поехал, и не из принципа или обиды какой, а просто пожалел тратить драгоценное время на совершенно неинтересную мне церемонию.

Во время путешествий я перебрасывался с Лекой и Эдуардом лаконичными э-посланиями, и знал, что мой старый однокашник прошел курс лечения от алкоголизма по тибетской методике, но в Швейцарии, где древние способы очищения души и тела дополнили передовой европейской терапией. Мне не терпелось увидеться с Лекой, но позвонил я, конечно, не ей, а Эдуарду, рассчитывая получить приглашение... Эдуард радостно воскликнул: «У меня свободный вечер, мы сами заедем к тебе... если ты, конечно, свободен!» Приехал он, впрочем, один. На серебристом внедорожнике. Сказал, что Лека чуть-чуть занемогла. Я встретил его во дворе, он выглядел прекрасно: веселый, бодрый, ясноглазый, в элегантном вельветовом

костюме цвета мокрой сосновой коры. «Как тебе моя новая тачила? – Спросил он, мотнув головой в сторону сверкающего чудовища. И, не дожидаясь ответа, затараторил, как-то умудряясь при этом не выглядеть суетливым. – Впрочем-то она пока не моя... Старики приобрели и доверили мне... В счет будущих моих, так сказать, предполагаемых успехов... хм-м... А если нападут на меня те успехи, то обещали оформить дарственную... хм-м... Хотя вообще-то – не мой стиль. У моих предков все-таки буржуазный вкус! Ха-а... Я бы предпочел чего-нибудь... в стиле американских 70-х... ну и, конечно, потемнее! Винтажное, как сейчас говорят... Если дела пойдут, то я знаю одного умелого кекса, который реставрирует старые кузова и впрягает их в современные моторы. А как ты – еще безлошадный! Ну-да, ты же всегда был равнодушен к роскоши... А как у тебя дела... в целом?.. Хотя, да... слышан уже, слышан... Поздравляю!!! Наши местные завистливые коллеги по поводу твоего неожиданного – но заслуженного, на сто двадцать процентов заслуженного! – успеха чуть ли не в трауре... Никто не ожидал! А теперь – локти грызут!.. Но я-то в тебя всегда верил! И Лека верила, и мои родители... Наша семья всегда к тебе очень хорошо относилась. Переживали, что путь твой жизненный такой... хм-м... непростой... Но вот сейчас ты и получишь все свои запоздалые награды! Я в этом не сомневаюсь... Есть же все-таки справедливость в этом мире?..»

Слушая его жизнерадостную болтовню, я вел его по тропинке к дверям. Внутренне я усмехнулся, услышав, что, оказывается, «всегда был равнодушен к роскоши»... А что, разве у меня был выбор?!

Мы вошли в гостиную, которая одновременно служила и мастерской; а спальня моя находилась в этом же помещении – за ширмой. Эдуард оглядел мое жилье: покрытая царапинами и порезами столешница на ножках из необработанных сосновых поленьев, ящики с мятыми тюбиками краски, пластиковые стаканы с карандашами и кисточками, несколько венских стульев и тахта, сделанная из деревянных ящиков, листы фанеры, сложенные в стопку, багеты для рам, составленные в угол, а на подоконнике – горшок с маленьким лимонным деревом и бесполоя гипсовая голова с тщательно вылепленными мышцами и сухожилиями. «Все та же аскетичная берлога убежденного отшельника, и это здорово!.. – Сказал Эдуард. – Жениться-то не собираешься, нет?.. Ну и правильно... Я бы тоже

не женился, если б знал, какая это мутотень – валандаться с женой... Нет в женщинах склонности к аскетизму. Нет, Лека – отличная баба, плохого не скажу, но иногда надоедает как сам знаешь что...»

Я не знал, как «что» Лека ему надоедает. И меня покорило, что прирожденную эльфицу он назвал «бабой». И мне подумалось, что вообще-то, не столько он «валандался» с ней, сколько она – с ним! И что жить с пьяницей – это очень суровая аскеза для любой женщины. И «склонности к аскетизму» никогда не наблюдалось как раз-таки у барчука Эдуарда...

Он получил Леку в дар от судьбы. И, как все прочие ее прекрасные дары, не ценил, что ли?

Когда я предложил гостю кофе: «Эдик, меня в Тунисе научили варить потрясающий кофе – с пряностями! Будешь?» – У меня не было никакого коварного плана в голове. Скорее, я грустил: «Теперь Лека точно останется с ним... Если уж она осталась с ним в пору болезни и неудач, то теперь-то...»

Он ответил: «Кофе? Что ж, отлично, давай! Только алкоголя не надо, мне нельзя!.. А, впрочем, ты ведь его и не держишь». Я подумал: «Ну, что ж поделать... Он – принц, а я – Карлик Нос!»

Сказал: «Полистай альбомы, я прикупил в музеях. Мне нужно минут десять...» Зашел на узкую кухню, открыл дверцу настенного шкафчика, достал поджаренные кофейные бобы и баночки со специями. Смолот кофе вместе с кардамоном, гвоздикой, перцем, мускатным орехом и ванилью. Налил в металлический полулитровый кофейник холодной воды, насыпал кофе, поставил кофейник на плиту и включил газ. Не отрываясь, смотрел на медленно поднимающуюся коричневую пенку. Когда пенка мелко запузырилась у края посуды, снял кофейник с плиты, выключил газ. Открыл вторую дверцу шкафчика, достал упаковку миндальных печений. Разместил на подносе сахарницу, кофейник, две чашки, корзиночку с печеньями.

Эдуард ошибался, алкоголь в моем доме имелся. Небольшой запас хорошего бренди на случай головной боли или простуды. Я открыл третий шкафчик, взял почти полную бутылку, оглянулся. Отвинтил крышечку, налил в столовую ложку светло-желтую ароматную жидкость и булькнул ее в кофе, снова оглянулся. Принюхался к поднимающему пару... Посомневавшись чуть, добавил еще ложку, размешал, понюхал еще раз, щелкнул крышкой кофейника как створкой

раковины. Взял поднос и направился в комнату.

Попросил Эдуарда поставить стулья поближе к столу и убрать со стола листы ватмана, карандаши и альбомы с репродукциями. Поставил поднос на стол, сказал: «Пару минут подождем, пусть настоится».

Эдуард, указав на мольберт с недавно загрунтованным холстом, – а грунтовал я всегда самолично, – спросил: «Как с идеями? Не бойсь, не украду!» На холсте еще не было даже карандашного наброска, я еще не знал, что буду писать. Ответил: «Я и не боюсь... Красть-то особо нечего. Новации – не моя сильная сторона, а твоя... Я всего лишь хороший ремесленник – своих-то идей не густо, подворовываю, как всегда, у старых мастеров...» – и указал на художественные альбомы, которые Эдуард положил на пол у стены.

«Ну-ну... Унижение паче гордости! – Сказал Эдуард и задумался. – А я... О задуманном ведь нельзя рассказывать... Но тебе, как другу... Ты ведь молчок, да? – Я кивнул в знак согласия, и Эдуард продолжил. – Ты замечал, как, например, красивы крылья у бабочек?»

«Да, конечно».

«И крылья стрекоз... и листья деревьев... и лепестки цветов... Краски! Узоры!.. Природа уже все сотворила!.. Так вот... – И Эдуард наклонился вперед и понизил голос, как будто хотел сообщить мне страшную тайну. – Я уже попробовал... Берешь макро-фотоснимок крыла той же бабочки... Выделяешь какой-нибудь фрагмент... увеличиваешь... И – один к одному копируешь на холст... И чудесная абстрактная картина готова! А?»

Я пожал плечами: «Приникнешь, буквально, к природе, будешь черпать...»

Иронии он не уловил.

«Ты не сомневайся – выходит здорово, красота! И, главное, кладезь этот – неиссякаем!»

«Наверное... Да, подобные изображения могут разнообразить любые интерьеры».

«Ну, дык, а я о чем! Сейчас живопись, в основном, покупают для оформления офисов, богатых квартир. Это стильно! Лишь бы мне правильно подать новую серию работ, вписаться в рыночную нишу... Но на то есть особые специалисты – торговать искусством». – И Эдуард довольно рассмеялся.

А ведь пойдет у него это дело, подумал я. Удачник! За что ни возьмется, все в его пользу. И Лека, конечно, останется с ним.

Я разлил кофе по чашкам и придвинул одну Эдуарду: «Утощайся! А то остынет...»

Эдуард поднял чашку с блюдца, поднес ко рту. Принюхался. «С чем это?» – спросил подозрительно. Я замер, сердце застучало сильнее, я постарался расслабить лицо.

«С кардамоном, гвоздикой, перцем, мускатным орехом и ванилью. – Ответил я ровным голосом. – Ваниль настоящая, не ванилин».

Эдуард отхлебнул: «Хм! Интересно... Вкусно!.. С перцем даже?.. А это все еще кофе или уже кофейный суп?!»

Я отпил из своей чашки. Бренди не чувствовалось, только кофе и пряности.

С некоторой тревогой я наблюдал за Эдуардом, скрывая нервное напряжение за улыбками, прищуриванием глаз и прочей мимикой. Ведь кто знает, как после курса древней тибетской и передовой швейцарской методик подействует на него даже небольшая доза алкоголя. Может, он и от одной капли рухнул бы на пол?!

Когда мы вышли во двор, Эдуард вздохнул полной грудью, раскинул руки в стороны: «Эх, какой вечер! Пьянеешь от одного только воздуха!» Уже стемнело, на фоне пламенного заката чернела ажурная металлическая башня, распустившая во все стороны провода, как лучи; ветви старых тополей покачивались; пахло жасмином и свежими стружками; с криками «Ы-а-а!.. Ы-а-а!...» – носились близко к земле крупные птицы, а прохладный ветер обещал скорый дождь.

Разворачиваясь, Эдуард пару раз мигнул мне фарами, а я в ответ помахал рукой.

Улегся на тахту, накрылся полосатым пледом и услышал, как по крыше пробежала кошка, и сразу вслед за этим крупные капли забарабанили по шиферу. Заснул я, как всегда, быстро и спал крепко. Мой сон никогда и ничто не могло нарушить

Нет, я, конечно, не желал смерти Эдуарда. Я всего лишь хотел, чтобы он свалился обратно в ту яму, которую заслуживал.

Кто же знал, что он по дороге домой остановится у магазина. И начнет отхлебывать понемногу из горлышка, будучи за рулем.

Полицейский махнул ему палочкой на пустом ночном шоссе, влажном от недавно хлестнувшего краткого ливня. Эдуард не оста-

новился. Патрульные погнались за ним. Эдуард лишь увеличил скорость. Водитель-полицейский врубил мощный дальний свет. Вспышка отразилась в зеркале заднего вида машины преследуемого и, видимо, ослепила его. Он потерял контроль над управлением и на скорости за сотню врезался в колонну воздушного моста. Умер в карете скорой помощи. В крови нашли алкоголь, а початую бутылку виски, опустошенную граммов на двести, – в бардачке.

На похоронах я стоял близко к могиле, среди друзей и родных. Широкою поляну, окруженную елями, заливал утренний, но уже жаркий сноп солнечных лучей. Людей пришло очень много, большую часть я видел впервые. Мужчины, запакованные в темные костюмы, с дорогими венками в руках, женщины с букетами роз и гвоздик. Я взглянул на склонивших головы и поджавших губы родителей Эдуарда и почувствовал укол совести: ведь это же я, пусть и косвенно, поспособствовал смерти их единственного сына!.. Но совесть успокоилась от простой мысли: а никто не заставлял его пить за рулем мчащегося автомобиля, мог бы и до дома дотерпеть; никто не заставлял его играть с полицией в догонялки, остановился бы сразу, ну, подумаешь, лишился бы прав, но остался бы жив.

Лека стояла рядом со мной. Траурное одеяние – юбка до лодыжек, блузка с длинными рукавами и легкий беретик – ей очень шло. Из-под беретки выбивались пряди волос ярко-красного цвета. Лека опять коротко постриглась. Посмотрела на меня и сказала тихо, как бы извиняясь: «Перекрасила за день до аварии... Кто же мог знать!»

Гроб опустили в яму. Лека пошатнулась, ухватилась за мою руку, сжала ее. В этот момент я понял, какую картину из новой серии начну писать первой. Пришло в голову и название: «Женщина, только что потерявшая мужа, тайком от свекрови примеряет красное платье». Платье я напишу такого же цвета – цвета перезрелой вишни, – что и волосы у Леки.

И я попрошу ее позировать мне. Удобно ли в период траура? Нет, лучше все-таки после.

Но позвонить я смогу ей уже завтра. Нет, лучше дня через три... через три. Так-то будет верней.

ЦВЕТ: БЕЛЫЙ

Меньше всего ему хотелось останавливать машину перед очередным спящим отелем (гостевым домом, постоянным двором). Ехать бы так и ехать. Дороги пусты, далеко впереди ночь, которую машина постоянно отодвигает от себя, ближе впереди – спидометр, огоньки, при помощи которых машина хочет дружить с тобой, борясь со своим собственным одиночеством, справа белая куртка Оры. Но Ора устала – она хочет спать, она хочет его. Она дает ему понять, что пора бы уже выделить ей кусочек причитающегося, по ее мнению, счастья. То есть, по ее мнению, это он – кусочек счастья, а то, что ей причитается, очевидно само собой.

Она замечательно держалась последние полчаса, на подмерзшем после оттепели серпантине, когда даже в поворотах он продолжал давить на педаль газа – иначе, стоило скорости упасть ниже тридцати пяти, их неумолимо вело в лес. И когда единственный за весь путь встречный автомобиль разминулся с ними, так и не включив своих фар (ни дать, ни взять Хичкок) – и потом, когда он ошибся съездом, и в поисках разворота пришлось спускаться вниз, туда, где на лесной поляне дорога делала петлю в виде знака «пасифик», напоминающего обведенный кружком след птицы. Едва он притормозил в основании этого гигантского иероглифа, забирая по заснеженной дуге вправо, а хруст под протектором шин показался ему настолько домашним и мирным, что он решил было окончательно прервать уже и без того медленный бег машины и сходить отлить в кусты, как среди косточек птичьей лапки, образованной радиусами пасифика, ему померещилось нечто такое, что он еще сильнее захотел отправиться в кусты, причем одновременно почувствовал, что здесь он не только ни за что не остановится и никуда не выйдет, но даже не свернет, срезая угол, на радиальную, аккуратную расчищенную кем-то дорожку, ведущую прямоком под самую плюсну, но выкатится по инерции обратно, завершая полуокружность.

И еще потом, на пути вверх, на обочину ступил олень – серый, как дерево, практически неподвижный и потому не обнаруживающий себя блеском глаз – и лишь ее спокойный голос и ее простые слова держали его в кольце простых человеческих жестов и позволили ему самому удержать руль в положенных пределах.

Правда, оттого, что Ора – это не Мёд, что-то было не так.

И то, что Ора, в отличие от Мёда, сама не водила, было не так.

Хотя то, что она так хорошо поняла и приняла эту дорогу, было хорошо.

Да все было хорошо.

Что-то подобное он слышал на днях: «Mam to co mam, jestem kim jestem». Да, конечно. У меня есть то, что есть, я – тот, кто я есть. Да. Конечно. Mam to co mam. Nic więcej. Ничего больше. Он стал вспоминать вечеринку, на которой подруга Оры требовала белого чая, в смысле, водки, – и кто-то из гостей объяснял, что в ресторане такая вкусная колбаса потому, что ее много съедают и она не залеживается, поэтому она здесь всегда свежая и оттого такая вкусная, – после чего они решили немного покататься в остывающем воздухе, который медленно сползал с лесистых склонов в сторону перевала, словно шапка с седых волос. Ресторан WATRA, на гуральском – «костер». Лед, как зеркало, мертвые петли серпантина. Белый чай, черный снег.

Эта ее подруга, она частенько перебирала с белым чаем, а год назад дочаевничалась до того, что поутру, поднявшись в гору, никак не хотела слезть с подъемника, повторяя: «Что случилось, скажите мне, что случилось? Отчего сегодня снег – черный?»

Название отеля «Орля песть» у гуралей означало опасное, непроходимое место – тропу орла. От крыльца отъезжала машина с приоткрытым окном, черный Leverage, и Алекс, чье окно тоже было открыто, спросил водителя, мол, неужели тут нет номеров? Есть, – ответил человек за рулем, – но только один номер и только на одну ночь. Отель выглядел недешевым, и Алекс почти начал опять взвешивать всякие факторы за и против того, чтобы ехать дальше, но, повернувшись к Оре, увидел, что ее лицо залито светом ближайшего к ним фонаря – и слезами.

– Устала? Всё-всё, остаемся, – он с напускной решимостью уткнул автомобиль решеткой в ажурный забор гостиницы и заглушил двигатель. – Выходим, места есть.

– Подожди, – сказала Ора голосом, в котором послышалось нечто, чего в нем не было на дороге. – Посидим чуть-чуть?

– Я думал, ты устала.

– Устала... – она взяла руку Алекса, подняла и прижала к своей щеке. Ладонь не намочила, слезы Оры высохли быстро. – Помнишь, на дороге, внизу...

– Внизу, – повторил Алекс, радуясь, что они больше не там, на загадочном дорожном росчерке. – Да, внизу. Хорошо, что мы опять наверху.

Он развернул руку ладонью кверху и развернулся сам – так, чтобы Ора смогла пристроить на ней подбородок: «Что внизу? И чего с тобой? Говори же!» Надо было срочно что-то сделать, чтобы их и без того не вполне надежный контакт не распался по пути от одного временного дома к другому, из щадящего полумрака машины к спасительной белизне простынь.

– Там, где ты развернулся – помнишь? Ты ведь не поехал через центр круга, а сделал полный круг? Почему?

– Действительно, почему?

– Ты что-то видел?

– Я что-то видел? А ты?

– Я видела.

Облачко мурашек пригладило затылок Алекса, и он с неохотой вспомнил.

– Мне показалось, будто дети какие-то пробежали, в белых балахонах. Хотя знаешь, скорее всего, голые, но с белыми тряпками. И исчезли.

Теперь и он честно вернулся мыслями назад, под птичью плюсну спутанных лесных магистралей, почувствовав себя крайне неудобно.

– Смерть, – Ора снова заплакала. – Там была смерть. Я там видела смерть.

Номер стоил немало, однако без завтрака сумма уже не поражала, оставаясь, тем не менее, впечатляющей. «Гном! – позвал Алекс. – Гном, – повторил он еще раз и подумал: Ну вот, она заставила меня это сказать». Ора пошла за ним, вернее, вместе с ним. Она умела держаться на расстоянии, – но так, что тела их постоянно соприкасались. Конечно, в зимнее время соприкасались скорее их пуховики, штаны или варежки, но постоянное шуршание ткани о ткань создавало эффект не меньшей близости, чем при трении живой кожи о живую кожу.

Алексу нравилась, как была одета Ора – он называл это «подиум-лайт». Она всегда выглядела празднично – при этом ровно настолько, чтобы, вылезая из машины далеко не столь дорогой и престижной, как

черный, уже успевший раствориться в южно-польской ночи левверг, не казаться смешной (едва уловимая ирония в выборе одежды позволяли ей сочетать лыжную куртку с сапогами на каблучке со стразами или расклешенную шубку с шутовским колпаком – а может, у нее просто не было вкуса).

– И чья это была смерть?

– Ничья. Просто смерть. Не надо. Сейчас. Пожалуйста.

– Гном?

– Дом!

– Почему ты называешь меня Домом?

– Ты же запретил называть себя Мёдом. Я переставила буквы, и получила Дём. Но, раз уж я Гном, ты, наверно, Дом?

Женщина, с которой он торговался по поводу завтрака, попросила подождать, пока она приведет номер в порядок, и они спустились в закрытый на ночь бар, в чилаут, где стояла новогодняя елка, невысокая, не выше Оры, довольно-таки минималистским образом убранная. Пара лент, несколько крупных шаров и четырехугольная звезда на верхушке – компромисс между католическим крестом и пентаклем масонов. Дизайн помещения был безусловно хорош – такой, как любил Алекс: немного бездумно (или безумно?) расположенные темные и светлые плоскости и либо очень крупное, либо почти мозаичное членение объемов. Возникавшее ощущение спокойного пофигизма подчеркивалось стильной фурнитурой. «Дендизм?» – подумал Алекс в поисках правильного определения, но Ора опередила его, дав простую и ясную дефиницию: «Кусочек Европы».

Ора села на кожаную кушетку у цокольного окна и Алекс встал рядом: «Минут пятнадцать этот кусочек может продлиться».

– Ну и что? Посмотри!

За окном переливались корпуса другого отеля, который не был виден с дороги, хотя и превосходил размерами «Орлиную тропу». Он явно принадлежал тем же хозяевам: ироничный абрис крыши, соразмерность во всем – в величине окон, их шаге, в расстояниях между карнизами, – тот же цоколь, оконтуренный четкой зубчатой линией забора и lanternы, убегающие во тьму...

– Ты же спешила, – Алекс положил руку на затылок Оры, короткие волосы приятной тяжестью легли в руку.

– Я и теперь спешу. – Она стала расстегивать Алексу ширинку. – Но

мы ведь уже на месте!

– Подожди, тетка с reception сейчас вернется.

– Я просто так. Просто так.

– Слушай, а эта твоя Магда здорово перепила белого чая, а? Будет завтра жаловаться на черный снег!

Номер вызывал ощущение свежести («Предельное ощущение свежести», – сформулировал Алекс). Кровати, вопреки ожиданиям, были застланы королевским красным, оттого белые подушки на них выглядели коленями девственниц, ожидающих, когда, наконец, к ним склонится голова единорога. «Наверно, олень. Навел на нас морок – вот и померещилось, что видели черт-те чего. Дети там голые!»

Душ был невыносимо горячим, – Ора всегда делала такой душ, – но, прижавшись к ней, его оказалось возможным вытерпеть. Ора забирала тепло, взамен отдавая влагу, – рядом с ней воды всегда становилось больше, чем было на самом деле. Видимо, вода, в свою очередь, тоже давала ей что-то: она прекрасно плавала и роскошно выглядела в бассейне, в закрытом купальнике и в дурацкой шапочке: как-то неожиданно складно и сильно – как на бортике, так и на дорожке. Пожалуй, даже лучше, чем на снегу.

Она вставила душ в держатель и положила руку на скрещение холодной и горячей трубок. Алекс пристроил свою возле – не накрыл ее ладонь, а просто втиснулся между рукой и металлом. Кисть Оры была значительно меньше, но пальцы были тоньше и казались длиннее. Поэтому его собственная рука с короткими пальцами сразу перестала ему нравиться. Он смотрел на ее пальцы, и ему представлялось, что это те самые концы нитей, которые надо связать с другими нитями, чтобы улеглось, наконец, его непонятное возбуждение, местами переходящее в растерянность, местами в сосущую – не то под ложечкой, не то под языком – тоску.

– Хорошо?

– Да, хорошо.

– Очень хорошо?

– Ну почему нам трудно найти слова, чтобы рассказать о том, как хорошо вместе под душем? Сейчас вот не модно читать Хемингуэя, а ведь он находил самые простые слова для описания самых обычных вещей. Горячая вода, пена, полотенце. Холодная вода. Видела на

столе минералку в бутылках? «Капля гор» – тут ее щиты на каждом углу, я всегда мечтал попробовать, из-за девушки на рекламе. Здесь все какое-то свежее, правда? Или мне хочется, чтобы так было – из-за того, сколько я заплатил?

Ему вдруг стало стыдно за эту попытку пошутить. Мёд бы такого не простила, а Ора может и снести, она любит говорить, что с ней легко, – и демонстративно избегает конфликтов. Смутившись, он повел себя еще более неловко, недостаточно тщательно обтер Ору полотенцем и как-то совсем отдельно от нее стал пробираться из душа в комнату.

– Теперь ты спешишь?

– Надо бы вернуться пораньше.

Кроватей оказалось две – просто они стояли так плотно, что с успехом изображали одну двуспальную. Оре непременно нужно было разговаривать в постели, и он говорил, благо тема была найдена. Простые вещи, простые ситуации. «А ведь их простота обманчива, – подумал Алекс, – может, хоть комната нас не обманет? Тот, кто настелил этот плотно-зеленый пол и коснулся потолка этим пастельно-бежевым, надеюсь, позаботился о запасах счастья в этих стенах».

– Помнишь, у Хемингуэя есть рассказ, называется «Канарейка в подарок»? Двое едут в поезде, в разговорах с попутчиками изображают благополучную семейную пару, а потом выясняется, что они едут разводиться...

– Рассказа я точно не читала, но историю откуда-то знаю.

– Лишь в самом последнем предложении выясняется: «Мы ехали куда-то там разводиться...» – или что-то вроде того...

– Определенно знаю, что не читала, но фразу точно слышала. В смысле – именно в качестве последнего предложения рассказа. И, кажется, именно от тебя.

– Или от Хемингуэя?

– Ну, не знаю... – шепнула Ора совершенно сухими губами, хотя все остальное было влажным: волосы еще не просохли, на лбу и груди смешались его и ее пот, а бедра вот-вот собрались потечь изнутри.

– Ты все знаешь, надо только вспомнить.

– Когда нам выезжать отсюда? – спросила Ора. – Во сколько мы должны быть дома?

– Хотелось бы, чтобы мама еще не проснулась.

Они знали друг друга не первый день, и это позволяло им надеять-

ся на ровный и ритмичный заплыв по царственным простыням, без сбоев, опозданий и опережений – хотя и без особых открытий. Ни один из них не делал того, что раздражало бы второго, а на отрезке совпадений их привычек и предпочтений, мест и способов касаний, излюбленных запахов каждый старался выжать максимум удовольствия. Щель между кроватями стала частью игры, как стала бы ею любая другая щель, оказалась она на поле их темно-красной регаты. «Мне хорошо с тобой», – сказала она, и он, какой бы избитой ни показалась ему эта фраза, поверил, но все равно, каким бы глупым ни показался этот вопрос, спросил: «Правда?»

– Да, милый!

– Я бы написал рассказ об этой свежести.

– Напиши! Ничего не мешает.

– Что бы такого придумать, чтобы не быть чересчур патетичным? Развод в Кракове?

– Достаточно упомянуть маму.

На следующий день воздух, спустившийся с гор, замерз и сгустился в море мелких кристалликов. Наверное, так проявлялась инверсия – понижение температуры воздуха при понижении уровня высоты, – не слишком редкое, как говорили местные, явление в это время года. Когда все разъехались, увозя в туман груды багажа, перебранки с шоферами, пакеты с едой и прощальные поцелуи, Алекс медленно двинулся вдоль окаймляющего виллы и сервисные пункты забора, тупо переставляя уставшие от лыж ноги, – так грустное сердце проталкивает сквозь себя порции крови: безвольно, но неотступно.

Плакат, призывавший пользоваться фуникулером для дальнейшего освоения недавно открывшихся трасс, избрал в качестве фона параллельные лыжные следы на идеальном снегу – видимо, из-за их отсутствия в реальности. Текст был написан наискосок, вдоль лыжней. «Но вряд ли, – сказал Алекс вслух, отчего фраза получилась суховато-округлой, – вряд ли автор плаката умышленно скопировал прием расположения титров в фильме «На север через северо-запад».

Когда он выехал, светило должно было стоять еще достаточно высоко. Однако ночь успела явственно обозначить себя, скопившись серым амебным веществом вдоль иллюзорных границ, которых

здесь было не меньше, чем рекламы минеральной воды: между домами и склонами, лесом и небом. Первая же заправка оказалась пристанищем доброго десятка транспортных средств, застигнутых врасплох переменой погоды. Между их салонами и заправочным павильоном сновали пассажиры, – запасаясь напитками и снедью, готовясь к затяжному броску. Собравшись с духом, Алекс оторвался от сверкающего тела заправки, как светлячок от садового фонаря, и тронулся в путь по бесконечным извивам горной дороги.

На скорости шестьдесят километров в час дорога и время двигались одинаково быстро – или одинаково медленно. Спустя час-полтора туман пожелтел и где-то внизу закопошился большой город, с мостами, рокадами и виадуками, с помощью которых Алекс намеревался преодолеть орбиту спальных районов, миновать ядро, другое ядро и вновь пересечь спальную орбиту – строго на северо-восток. При съезде с последней эстакады он увидел бензоколонку, на будке которой светились буквы: *Tu kupisz kwiaty!* Здесь купишь цветы: «Кому это, интересно, положены здесь цветы, уж не мне ли?» – попробовал он напугать себя самого, по самую крышу ныряя обратно в безжизненную взвесь. Получилось не вполне убедительно.

«...И вот в чем еще не откажешь Хемингуэю – в его умении описывать страшное. Обгорелая балка, стреляная гильза, отпечаток армейского сапога – ни единого лишнего слова. А как мне описать этот проплывающий за окном искореженный остов микроавтобуса, с пустой глазницей без лобового стекла, обтянутой желто-черно полицейской лентой? Как передать это тягучее, но не рвущее душу – что? – томление, испуг, но вперемешку с уверенностью в существовании моей собственной ленты, столь же желтой и липкой, как бы резиновой, которая тянет меня из пункта «а» в пункт «бэ»... Должна дотянуть, обязательно».

Будь на дороге сухо, будь воздух прозрачен, он, пожалуй, все время помнил бы, отчего плакала Ора и кто вчера ожидал кого-то на скрещении лесных троп. Туман же запросил столь высокую степень концентрации, что думать удавалось лишь о самом насущном, и Алекс привычно соскочил с орбиты размышлений об Оре на более близкую траекторию мыслей о Мёд.

Он до сих пор не привык к иной форме груди, к родинкам на спине и лопатках вместо живота и ключиц, к новому запаху шеи под волосами.

Привыкнуть было не просто, многое было непросто, даже то, что они не были едины, как Мёд и Мёд, а были неизвестно кто – не Гном же и Дом в самом-то деле, – то есть, не были никем, были ничем. Правда, Мёд находилась далеко, так далеко, что, можно сказать, неизвестно где – и неизвестно с кем. А Ора перемещалась по той же части лесисто-болотного региона, разве что сотней километров восточнее, в облепленном туманом автобусе. Она была, так сказать, подвижной из двух его звезд, и хотя ее отдаление и, стало быть, их близость были величинами переменными, она все-таки горела тревожным огоньком где-то на краю сознания Алекса, притом скорее зеленым или голубым – а не оранжевым или красным, цветами Мёд.

Ему край как не хотелось тратиться на ночлег – тем более, для себя одного. Заправленный под завязку, он ехал и ехал, не останавливаясь: ни когда в одной из деревень на знаке «Piesi» за ним погналась собака – ступком мглы по встречной полосе – словно предупреждая, чтобы он не смел расслабляться, ни когда сразу же после знака «Konies» дороге – вестниками из ниоткуда в никуда – перебежали три пешехода, лишенные каких-бы то ни было элементов экипировки, способных испускать или отражать свет. Хотя после того, как к туману добавился, вернее, вернулся мороз, даже в долине, державшийся от мегаполиса на почтительном расстоянии, ему стало по-настоящему не по себе.

Когда же к ним присоединился то далекий, то подбирающийся вплотную к машине вой ветра, он сдался, и – как только в местечке под названием «Королевское нечто» (а что точно, было залеплено снегом) возник, по левую руку от трассы, мрачный, расцвеченный изнутри таинственным мерцанием замок, – он, не дожидаясь разрыва сплошной, вывернул до упора руль и нажал на тормоз лишь на просторной парковке перед спящим фасадом с темными окнами, в глубине которых то и дело вспыхивали и гасли золотистые точки.

В освещенном свечами лобби юный и на зависть свежо выглядящий портье склонился над портативным компьютером, выписывая в тетрадь какие-то цифры и не переставая улыбаться. Волосы и пиджак, – плечи и рукава до локтей, – были мокрыми: «Буря обрушила линию электропередачи. Шесть столбов, полный коллапс, – сказал он и со вкусом добавил, – катастрофа». Откуда-то из глубины доносился женский смех и звон посуды, но ни пить, ни есть не хотелось. Под

взглядами лосиных и кабаньих голов с потертых стен горничная в длинном платье горчичного оттенка с отложным воротничком и с высокой прической, держа перед собой свечу, отвела Алекса по глубокому ворсу коридора в его комнату. Два марципановых сердечка в блестящих обертках лежали на подушках огромной кровати, словно монетки на глазах переплывающего свою последнюю реку. Где-то на границе государств в автобусе спала Ора, где-то на внутренней территории бывшей империи жила Мёд, где-то между жизнью и самой собою ждала смерть.

Зажим на душевой штанге этого номера был сломан, и под напором воды наконечник душа бессильно опал – деталь, заставившая Алекса улыбнуться. Стоя на коленях на скользком полу кабины, он раскачивался под горячими струями, смывая с шеи и плеч напряжение долгого вечера. Шампуня не было, зато мыло во флаконе, по форме напоминавшем бутылку минералки, называлось «Сердце гор». Чтобы окончательно выпасть из яви, оказалось достаточно вдохнуть крахмальный запах наволочки, безотказное дорожное снотворное. На краю сна в оступающемся сознании мелькнула тень довольно нелепая мысль. Он вспомнил свою мокрую руку на медной штанге в душе. Металл тускло золотился при свете свечи, проходившим сквозь открытую дверь ванной комнаты. «Если выдрать ее из стены, ею можно будет при необходимости расколотить дверцы кабинки, – именно так предлагается срывать пришипленный к потолку автобуса молоток, чтобы выбить стекло в случае аварии».

Утром солнце заливало зал для завтраков, окрашивая плетеную мебель в лимонный цвет. Он съел яйцо всмятку, несколько полосок жареной грудинки и бутерброд с маслом, двумя слоями колбасы и тремя слоями сыра, обычного, плесневого и плавленого, а также выпил четыре чашки кофе – два раза черный и два раза с молоком. Как ни странно, машину за ночь почти не замело. Замок за ночь из готического стал совершенно пряничным. Кладбище по правую руку тоже было игрушечным, кресты торчали из сахарного снега фигурными шоколадками. На холме вырос палевый стройный костел с алой чешуйчатой крышей. Поравнявшись с ведущей к нему дорожкой, Алекс отпустил педаль и, не тормозя, с приятным поскрипыванием свободно влился в белую площадку перед костелом. Дверь была приоткрыта, справа и слева от нее стояли красивые венки, собранные

из цветов и еловых ветвей, перевитые множеством лент. Вокруг не было ни души. Казалось, кто-то недавно ушел в разбежавшиеся по-за костельным подворьем поля, оставив после себя еле заметное сияние, подобное дымку над кружкой, из которой никто не пьет.

...Мёд понемногу начинала отпускать. Сначала исчезла та смертельная сладость, что лежала на сердце, вздрагивая и касаясь его каждый раз, едва Алекс начинал думать о Мёде. Затем понемногу стал растворяться в слюне тот приторный вкус, что возникал во рту, если чья-то походка, чье-то крыло волос или чей-то низкий насмешливый голос напоминали Мёда. Наконец, когда шоссе расширилось до невозможности и плавно переросло в автобан, несколько раз пройдя над реками и железнодорожными ветками, защищаясь от высоты сквозными ребристыми кожухами своих ограждений, Мёд отступила в серебристую изморось полей, в глухую тень лесных веток, в ночь, в день, снова в ночь – далеко...

Только тогда он вспомнил о смерти, стоявшей на развилке дорог, устроенной в виде пасифика: как-то она там, в этом сыром тумане?

Барбала Симсоне

ВКУС ПУЛИ

О романе Мариса Берзиньша «Вкус свинца»

(„Dienas Grāmata”, 2015)

Третий, выпущенный в серии *Мы. Латвия. XX век*, роман – Мариса Берзиньша «Вкус свинца» – хочется как-то отделить от двух первых, правда, трудно определить, почему. Может быть, потому что описываемый в нем период переступает до сих пор соблюдаемые в произведениях серии границы «одного десятилетия» и в трехлетней амплитуде – 1939, 1940, 1941 – заглядывает в два десятилетия сразу; но, может быть, еще и потому, что именно эти три года в сознании латышского читателя выгравированы, как огненные руны, – пограничным знаком: между весьма приблизительной, уже начинающей окутываться мифической дымкой, догадкой о «счастливых, зажиточных» тридцатых и – уже довольно хорошо представляемыми (хотя бы по рассказам родителей и бабушек и дедушек) в памяти послевоенными годами, глубоко увязшими в советском болоте. Три года, три режима и всеми ветрами мира разрываемый человек – такова тема, которую Марис Берзиньш решает с филигранной простотой и которая, может быть, поэтому бьет по мозгам, как пуля.

Матис Биркенс (вряд ли случайность, что инициалы центрального образа такие же, как у автора) – это, в целом, довольный своей жизнью молодой маляр в Пардаугаве. Тревожные события, которые уже в 1939 году меняют границы на карте Европы, мало трогают молодого парня, – он больше озабочен собственными отношениями с девушками, которым мешает пустяковая физиологическая проблема... Сначала кажется чуть комичным, что этому нюансу урологического характера автор посвятил так много страниц, однако, как метко замечает автор послесловия, доктор теологии Илзе Янсоне, внимательный читатель эпизод обрезания Матиса воспримет с должной серьезностью, хотя в 1939 году еще ничто не говорит о том, что хирургически удаленная полоска кожи на самой интимной части мужского тела некогда станет роковой. Но именно этот нюанс определяет 1939

год, как «телесное время» – время, когда в голове у Матиса девушки, алкоголь, бьющая через край молодая сила и равнодушие ко всем тем, у кого всего этого (больше) нет. И лишь отдаленно-отдаленно, как слегка сбившаяся мелодия одинокого инструмента, впервые в тексте романа возникает ранее упомянутый вкус свинца, который проявляется во вполне телесной мелочи, – Матис предупреждает подругу с библейским именем Суламифь, что не надо пользоваться губной помадой, потому что производители косметики добавляют в нее ядовитый свинец. Но поздно: парень уже «отравлен», и ядовитое жало станет видно в тот момент, когда в июне 1940 года сменится власть, но Матису более драматичной, чем политическая ситуация в стране, покажется «конвертация» Суламифи в новый режим и ее отъезд в Москву. Метафорический вкус свинца обнаружится – горький и ядовитый. Он «окрасит» и судьбу друга и коллеги Матиса – Николая, который отказывается в рамках соцсоревнования красить стены детской больницы свинцовой краской (заслужив тем самым от советской власти звание саботажника), а в тексте романа это становится емким символом режима. В эпиграфах к главам и в тексте романа автор широко использует тщательно подобранные цитаты из печати соответствующих лет – начиная с объявлений о свадьбах и репортажей о последних событиях – и кончая стихами, – которые преобразуют рассказ «маленького человека» Матиса в более широкую историческую картину эпохи, но рисует ее такой нюансировкой пейзажа, что сегодняшний читатель порой с трудом воспринимает эту психоделическую яркость. Но именно во внутренней динамике неисторического образа Матиса Биркенса, в постепенном осваивании правил «исторической игры выживания» писатель яснее всего демонстрирует, как радикально менялось восприятие жизни в эти три года «цивилизованного века», на какой тонкой нити повисало все само собой разумеющееся и как скоро скрывались за углом законность, культура и мораль в тот момент, когда всё решало одно – у кого в руках оружие: у тебя или у другого, и кто из вас успеет выстрелить первый. Беспощадная точность деталей, непоэтизированная и очень персоналистическая детализовка, как муху, затягивает читателя в эпицентр паутины и заставляет смотреть на историю как на паука, который не торопясь, но неотвратно приближается именно к тебе.

Вкус свинца как символ из «отдаленного мотива» разворачива-

ется в полную инструментовку в эпизоде, где Матис, нарушивший комендантский час, в столкновении с патрулем получает в челюсть пулю, которая задевает полость рта и лишает юношу дара речи. С этого момента Матис будет мучиться из-за непрерывного вкуса свинца во рту всякий раз, когда почувствует приближение малейшей угрозы насилия. С этого момента он сможет общаться с людьми только произношением гласных или (в соответствующей ситуации) письменно, – это сильно действующее символическое указание на психологическую (и совести) немоту, которая в это время касается уже не отдельного человека, а всего народа в целом, ибо ведь не только Матис «нем» во второй половине романа. Онемели в своем роде и его друзья Коля, Рудис и Тамара, – все, кто знает, что их слово протеста против абсурдного режима ничем не поможет. И все же – так же, как Матис, они продолжают упрямо произносить бессвязные гласные: так группа из четырех человек пытается по мере своих возможностей что-то делать, чтобы отнять у монстра власти хотя бы небольшую часть добычи, – хотя бы, скажем, пряча евреев и военнопленных. Субъективное отступление: кажется, прочитанные до сих пор рассказы о «войне», «беженцах», «пленных» в известной мере довели нас до отупения, потому что мы приучились к соприкосновению с теми нарративами, которые, вопреки всему, имеют счастливый конец (логично, если они – автобиографические). Тонкую оболочку веры современного читателя в то, что «были же и такие, кто выжили», и «вот, некоторым посчастливилось» в романе Берзиньша разрывает на части весть о том, что в заключении ожидается физическая и психологическая яма.

Кстати, о ямах: определенную ноту черного юмора вносит в текст символическая «смена профессии» Матиса – маляра на могильщика (потому что это время политической «перекраски» – белого в красное и опять в белое. Тут, кажется, автор дал волю сатирической ноте в своем творчестве). Но одновременно это занятие – один из знаков предчувствия в романе, потому что вызванная пулей немота и сделанная в начале повествования «пустяковая операция» окажутся судьбоносными в момент, когда на территории Латвии снова поменяется власть, и Матис в очередной раз будет брошен в ситуацию, в которой ничего не может изменить, – и парадоксальную ноту иронии подчеркивает факт, что в единственном преступлении, инкриминируемом Матису, он не только не виновен, но никак и

не может быть виновен. Обвинение же в «еврействе» позволяет Матису (и читателю) изнутри познакомиться с Рижским гетто 1941 года и эмоционально «подключиться» уже не к латышскому, а совсем другому – еврейскому – культурному коду, давая почувствовать, что национальное размежевание в разговоре об исторических травмах бессмысленно (на это указывает и тот факт, что у двоих героев романа отчимы – не латыши, к тому же – каждый из них другой национальности). Парадоксальным образом сюжет достигает кульминации посредством не литературного, а графического приема, переклюкающего читательские коды с вербального на визуальный, и на последних страницах филигранно увязывает в единую сеть «малое» и «большое» повествование, одновременно образуя одну из эффективнейших среди когда-либо встречавшихся в романах развязках.

Вкус свинца, может быть, следует назвать романным электрошоком. Сквозь призму рассказа одного человека (субъективного, не до конца понимающего и, естественно, не знающего будущего) раскрывается картина эпохи (картина, которую позднее будут прославлять то в одном, то в другом направлении) – это, конечно, талант, но в то же время, как прием в историческом романе, не представляющий ничего необычного. Но сила Вкуса свинца именно во внезапной самоидентификации, которую мы обретаем по ту сторону призмы, и вынуждены до мельчайшего нюанса, буквально до тошноты, ощутить, каков на самом деле вкус пули.

Перевод А.Ивановой

* Статья „Garšo pēc lodes” («Вкус пули») впервые опубликована на латышском языке, в *punctum laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls*. (punctummagazine.lv / 2015 / 02)

Ирина Цыгальская

СИГНАЛЫ ИЗ БЕСКОНЕЧНОСТИ

В самом конце прошлого года вышла из печати книга стихотворений Леона Бриедиса, переведенная на русский язык Юрием Касяничем.

Ю. Касянич посвятил работе над переводами поэзии Л. Бриедиса больше тридцати лет, оставаясь «однолюбом»: не жалея ни труда, ни вдохновения на перенос в стихию русского языка стихотворений других поэтов.

И «Волны пустыни», – так называется этот сборник, – получились цельной книгой. Кажется, в данном случае нет смысла взвешивать, насколько она вместила или отразила в себе всю тематику, всю совокупность поэтического мира Бриедиса. Стихи пришли к русскому читателю, и надо постараться понять, что в них есть, что зовет углубиться в этот мир, что приглашает к думанью.

Юрий Касянич старается проникнуть не только в переводимые тексты, он чувствует потребность побольше узнать и о том, что вокруг. Знакомится с создаваемыми Бриедисом антологиями европейской поэзии, приходит к заключению, что автор полюбившихся строк «обладает тончайшим умением *вчувствоваться* в стихи своих не-встреченных собратьев» (из предисловия переводчика к «Волнам пустыни»).

Слова об этом «тончайшем уменье» с полным правом можно отнести и к Ю. Касяничу. Он не только владеет латышским языком, не только знает историю, культуру Латвии, но и чувственно постигает контекст, в котором работает Бриедис.

Читателю, чтобы суметь лучше вдуматься в стихи, лучше понять их не только умом, но и сердцем, надо, наверно, внимательно прочесть и предисловие. Обнаружить невозможность того, что, будто бы, удастся рогам оленя (Бриедис – это, в переводе на русский язык, – олень), «которые /../, принимают сигналы из бесконечности»: так предполагается в заключении предисловия.

Бриедис приглашает к постижению непостижимого, как бы даже подводит к оптимистическому решению: если в мире нет истины, правды и добра, то это не значит, что их незачем искать; то же и о непостижимом – не сказано, что к постижению не следует стремиться.

В стихах Бриедиса встретимся не раз с человеческой теплотой.

Увидим конкретную, милую деталь, означающую доверчивость вообще и доверие близкому человеку: «я ключ души своей / засуну под крыльцо», – так настраивает стихотворение «я даже уходя совсем...» (стр. 72) со второй строки. И предшествующая, первая строка, должествующая насторожить и подготовить к трагике, почти не затемняет свечения этой теплой, такой земной подробности.

В восприятии стихотворений Бриедиса почти постоянно происходит нечто похожее на взлеты качелей, – и захватывающие дух падения с высоты, чтобы через секунду взлететь вновь. Взлеты и падения – между скорбно-вечным – и милыми сердцу земными подробностями. Слышится раскаяние, что не смог дать любимой света, который в ней «ни разу не расцвел сполна», и которым «всегда себя я освещаю» («Тем светом, что в тебе, родная...»; стр. 75).

Не раз удивит неожиданность, как, например, взлетевшая «в небо скала» («К звезде протянул я руку...»; стр. 86); пейзажная лирика, часто окрашенная в темный цвет из-за неизбежности чередования радости и трагизма бытия. Поэт, как никто, способен остановить внимание на странных параллелях, сравнениях, взаимопроникновениях между восприятием индивида – и, будто бы, всё точно также понимающей природы.

*В камине треск сырых поленьев.
Где теплый смысл? Лишь дым
сомненья.*

*Из времени гнилого вырезаем
мы ложки, чтоб мечты отведают,*

но мечты не материальны, их нельзя «отведать», лишь утешаться тем, что мы и сами,

*как облака, что сизым комом
нависли, град копя, над домом,*

*где каждый день за стенкой –
слышишь! –
скребутся, слава богу, мыши.
(И по сей день; стр. 90).*

Поэт способен и слегка поиронизировать, например, над угрозой

прихода «бродяжки смерти»: она ведь «ничья возлюбленная / ненавидимая», ей «и сам Бог / гроши, что надрываясь заработала /, не заплатил / до дня последнего суда / оправдываясь занятостью / и неплатежеспособностью» (Бродяжка смерть; стр. 91).

Иронизирует и над современником, который осмеливается «*быть простаком, глупцом*» и в заключении превратиться в «*куст жасминовый, цветущий тут, / промчавшегося лета плут и шут*» (Жасмин осенью; стр. 93). То же и в стихотворении «Игра с сердцем», где стоишь опять как дурачок, превращенный – или оставшийся, – «*среди жизни мальчуган / сидя против своей воли*» (стр. 94).

И снова, уже без всякой иронии, представляет нам образ пути своего героя – тропинку, «*идя которой – / никуда / не деться – ведь над бездной, / что пред тобой, – / пройти – /пустяк... / Лишь то, / что бессловесно / издревле спит во мне, / начала и конца не зная, – / не преступить... / хоть горизонт / распахнут мне до края*» (Бездна; стр. 101).

Ясно и слышно озвучивает переживаемую, пусть и не совсем на сей раз внятную, трагику бытия:

Как камень – сон.

*Как камень
брошенный,
что падал
тяжело
в стекло души,
но не разбил стекло.*

(«Как камень – сон...»; стр. 103).

И еще:

*Надменно привык смотреть
на многое в мире ты.
Но всё же оставь себе смерть,
чтоб было куда уйти...
(И всё же; стр. 105).*

Возможно, иные строки следует воспринимать, как полемику. Например, с теми, кто в поэзии утверждает нашу обязанность принять участие делании, чтобы согреть мир и своим дыханием. Поэт

переживает совсем другое; но, может быть, это и его печальная игра:

*и здесь мне некого окликнуть
меня никто не позовет*

*сад необъятный и глубокий
листвою шелестит мне в след*

*счастливый в нем скитаюсь словно
меня здесь и в помине нет*

(«я в белый сад забрел, откуда...»; стр. 12).

Да кто же сказал, что мы должны быть? Природа равнодушна, – так почему бы не чувствовать себя счастливым, когда тебя нет?

Как пишет о готике в латышской литературе критик и литературовед Б. Симсоне, ее, готики, ужас появляется в ней в пейзаже души, а не окружающего мира.

Есть элементы готики и в поэзии Бриедиса, они намечены пунктирно и словно бы мимоходом, мазками тонкой кисточки:

*о сердце человека
бескрайние унылые
похожие пустые одинокие
долины и холмы
что кровоточат серым
пейзаж без человека
в человеке*

(«дождь...»; стр. 18).

Леон Бриедис пленяет и парадоксами, высказанными на языке иносказаний. Не парадокс ли всё целиком стихотворение «меж ставен свет пробьется как упрек» (стр. 40), или уже самые первые строки в одном из следующих стихотворений: «весёлый властелин / своих печалей» («веселый властелин»; стр. 43), еще – De Tristia: «саму печаль порой / охватывает / невыносимая печаль» (стр. 44); «сложить мне крылья с плачем...» (стр. 47).

И – неожиданными аллегориями и превращениями, которые, может быть, следует назвать – замещением. Иногда покажется, что – странным, однако, оно приводит к думанью над смыслом предметов и вещей, над происходящим внутри индивида – и во вселенной. Обратись, в конце концов, к философским размышлениям: не как профессиональный мыслитель, а как любой человек, которому

присуще думать постоянно и над чем угодно.

Трудно сказать, оказывает ли влияние на Бриедиса и, – если да, то насколько оно велико, – испанская, португальская поэзия, где так характерно ожидание смерти? Эстетизация обреченности. Или, напротив, его заражает, заряжает светом румынская, итальянская поэзия. Может быть, это и вовсе праздный вопрос: у Бриедиса – синтез того и другого, да и не влияние это, а свойственная поэтам переключка. Так же, как и с иными латышскими собратьями и современниками.

МЕЖДУ ПРИЛИЧИЕМ И ОТЛИЧИЕМ*

Поэзия Латвии в 2014 году

Актуальная русская поэзия

(фрагмент обзора)

Кажется, энергия столицы европейской культуры 2014 года побудила русских авторов Латвии завершить работу над рядом поэтических сборников. В книге **Ирины Цыгальской** «Ритмы» (Рига: ЛОРК) несколько стихотворений представляют собой ностальгические посвящения близким людям и литературным коллегам, это впечатление откровенной беседы усиливают и переводы произведений латышских поэтов – Ояра Вацietиса, Иманта Аузиня, Ингуны Янсоне, Анны Аузинь и Инги Гайле, – которые занимают большую часть сборника.

В последние годы активизировалась издательская деятельность текстгруппы «Орбита». В истекшем году вышла в свет первая книга – «б/у» / «Lietots» (переводы с латышского И. Балоде, П. Драгунса, М. Пуятса и А. Вигула) – ее пятого участника **Владимира Светлова**. Очевидно, поэзия для него все эти годы была только одним из видов художественного творчества – из написанного за пятнадцать лет отобрано пятнадцать стихотворений, каждое из них – не только на русском, но и на латышском и английском языках, к тому же значительную часть сборника занимают иллюстрации. В результате получилась книга, напоминающая презентативный материал в современном дизайне, где у текста – подчиненная роль; автор тихо, непретенциозно делится своими наитиями, наблюдениями окружающей среды, любви, денег и других вещей.

Начавшись в 2013 году с книги стихотворений **Елены Глазовой**, серия поэтических сборников, издаваемая «Орбитой», в 2014 году набирает темп и не только знакомит с малоизвестными русскими поэтами, но и предоставляет возможность практиковаться в поэтическом переводе латышским поэтам – для большинства переводчиков эти работы можно счесть дебютом, поэтому решающее значение имеет и отбор редакторов латышских текстов.

* Полностью обзор поэзии Латвии в 2014 году опубликован на латышском языке в журнале „Latvju Teksti” 2015 / 2

Наиболее легко воспринимается – и самая артистичная, в этой серии, пока – «*Cafe Europe*» **Дмитрия Сумарокова** (Рига: Орбита; переводы А. Оступса и А. Вигулса), причиной тому, несомненно, и качество переводов. Интересны тут и формальные эксперименты, игры с разными используемыми в стихотворениях языками и культурами (нельзя не упомянуть трогательные «Эстонские песни о смерти», иные из них, как замечает Инга Сургунте („*Latvju Teksti*”, 2014/2), – весьма сложны).

Проще прочитываются «17 стихотворений» **Александра Меньшикова** (перевод К. Зельгиса и И. Штейнбергса), даже иногда флегматичные – например, стихотворение длиной в восемнадцать строчек в конце концов оказывается разделенными на многие короткие строки тремя довольно простыми предложениями, в которых автор признается в любви своему старому дивану (стр. 99). По сравнению с изданной в 2007 году билингвальной книгой „*Lidzas*” / «Рядом» Меньшикову на сей раз больше повезло с переводами. Все же сомнамбулически медленное движение этой поэзии может довести нетерпеливого читателя прямо до безумия.

Гораздо более твердый орешек – сборник **Олега Ленцога** «*Pieseļas ielpr*» / «Подымается дышит» (Рига: Орбита; перевод М. Салейса и А. Огриньша), знакомство с которым непредставимо без долгого и тщательного поиска поэтического ключа (см. рецензию Айвара Мадриса, „*Latvju Teksti*” 2014 / 7). При чтении этой поэзии видно, что автор на различных уровнях имеет дело с явлениями, для расшифровки которых опыт латышского читателя поэзии дает очень мало или вообще ничего, – можем заметить, что автора занимает желание создавать стихотворения, трудно поддающиеся разгадыванию, ситуации в них нередко улавливаются, но гораздо труднее объяснить, носители какого они смысла (например, сочинение о тапире, который в жаркий день приходит к реке напиться, у автора, надо думать, воплощает еще какой-то «более глубокий смысл»). Книга оставляет впечатление, что подобного рода проблемы коммуницирования все же – в основе замысла автора: вовсе и не надо понимать слишком много.

Но лидер непонятности все-таки, пожалуй, – автор последней, пока, книги – **Евгений Нелеш**, его сборник „*Uznācis*” / «Нашло» (Рига: Орбита; перевод Х. Э. Зегнерса и Л. Вейпса) – наитруднейший для восприятия; окутана тайной также идентичность самого автора, – в

интернете найдем цикл его стихотворений «как стать старушкой» и публикацию в журнале «Вавилон», 2003 № 10. Эти стихи напоминают фрагменты незначительных, тривиальных разговоров, смысл которых – поддержать необязательный контакт между говорящим и его аудиторией (если принять, что такой аудитории поэзия вообще нужна). Хороший пример тому – последнее стихотворение книги, где, как можно догадаться, говорится о какой-то ночной тумбочке, которую, возможно, кто-то кому-то отдал вместе с другой мебелью (стр. 87). Последняя строка в нем такая: «какая разница».

Трудно сказать, совпадение это или закономерность, но сборники всех рассмотренных авторов сборников стихотворений русских авторов (исключение могли бы составить, пожалуй, И. Цыгальская и Д. Сумароков) характеризует осознанная маргинализация, уклонение от прямого, открытого контакта с читателем, кажется, сомнение в существовании этого читателя. Если нет всерьез воспринимаемого собеседника, пропадает необходимость иметь индивидуальность, нет уверенности, что твой опыт и художественные проявления кого-то могут заинтересовать. Может быть, этим объясняется слегка ироничная, насмешливая интонация, которая показывает, что говорящий, сказав несколько слов, махнул рукой и принимается говорить о чем-то другом.

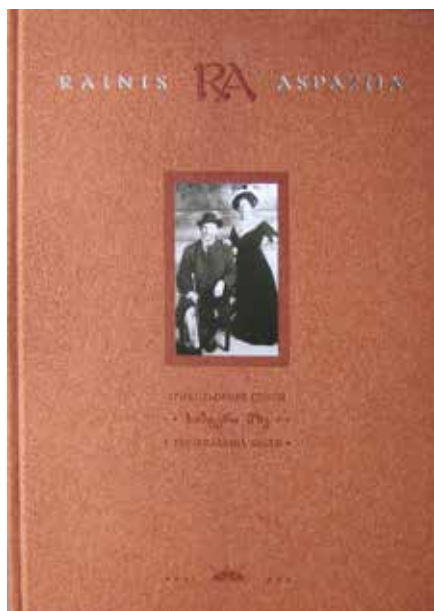
Очень надеюсь, что эта серия продолжится и русская современная поэзия в Латвии, представленная в сознании читателей, в настоящий момент, вероятнее всего, авторами, которых можно сосчитать на пальцах одной руки, раскроется во всей своей потенциальной красе и многообразии. Может быть, в будущем отчужденность вовсе не будет столь непреодолимой?

Перевод А. Ивановой

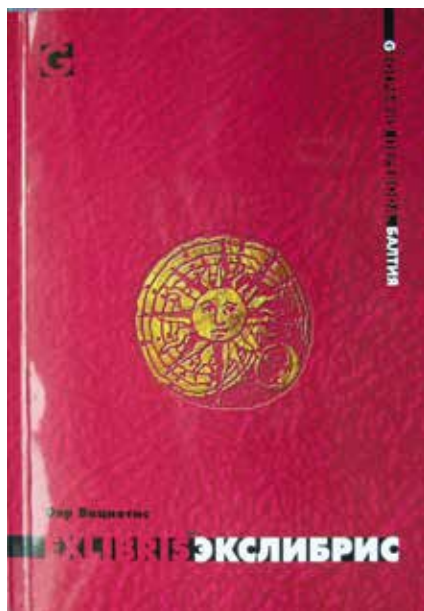
НОВЫЕ И СТАРЫЕ КНИГИ

Эта книга – „Trejkrāsainā saule” («Трехцветное солнце») – не новая: издана в 2007 году /изд-во „Nekate”. Составитель Р. Чилачава, переводчики на украинский и грузинский языки Р., И. Чилачавы и др./ . В продаже ее не было и нет. Зато ею можно полюбоваться в Музее Райниса и Аспазии в Юрмале, почитать в библиотеке...

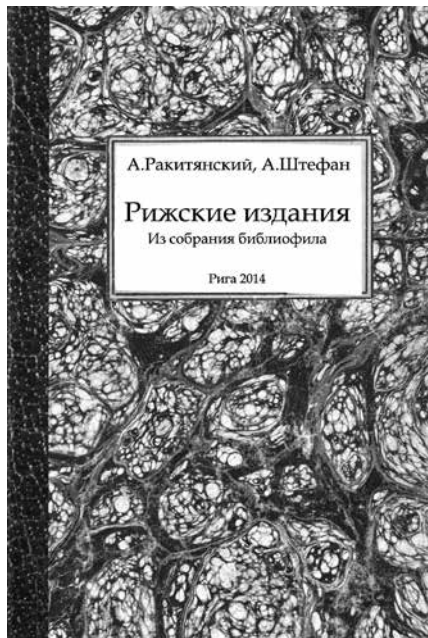
В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Райниса. 2015-й в Латвии объявлен годом Райниса и Аспазии.



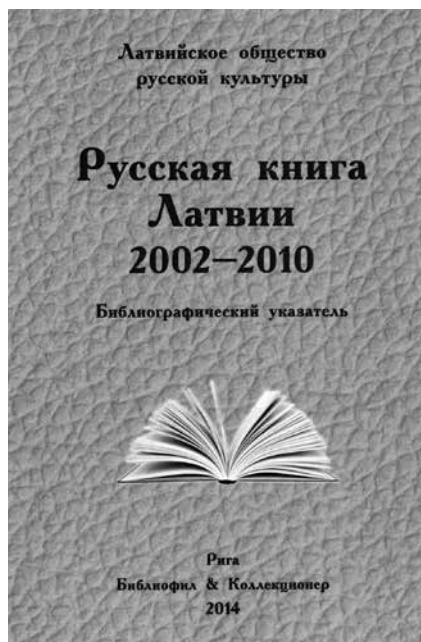
Rainis RA Aspazija. Трикольоровое солнце. R. Nekate. 2007. С. 203.



Ояр Вацietис. Экслибрис. Перевод с латышского и послесловие (“Текст как место”) С.Морейно. М. Русский Гулливер. 2014. С.151.



А. Ракитянский, А. Штефан.
Рижские издания. Из собрания
библиофила. Рига. 2014. С. 174.



Русская книга Латвии. 2002 – 2010.
Библиографический указатель.
Рига.
Библиофил&Коллекционер. 2014.
С 175.

Анна Иванова

ЕЩЕ О НОВИНКАХ

Строки предшествующей статьи, посвященные поэтическим сборникам прошлого года, написанным на русском языке, представляют как бы взгляд со стороны. В каком-то смысле это – всегда наиболее объективная оценка. Но порой – недостаточная: остается впечатленье, что взгляд скользнул слишком быстро, не успев углубиться.

Так или иначе – есть, о чем подумать, – и поэтам, и читателю.

Библиофилов и коллекционеров, учителей и преподавателей вузов, а вслед за наставниками – школьников и студентов – порадуют «Рижские издания» (*Из собрания библиофила*) и Библиографический указатель. Любителей и знатоков поэзии – книги переводов латышской поэзии: *Ояр Вацietис. Экслибрис / Ojārs Vācietis. Ex libris. Москва: Русский Гулливер, 2014* и – *Девичий виноград. Женская поэзия Латвии / Jaunavu vīnogas. Latvijas dzejniešu dzeja. Москва. Русский Гулливер, 2014.*

Обе книги составил и перевел Сергей Морейно. «Девичий виноград» – это современная поэзия, *снимок* текущего момента. «Экслибрис» тоже, по-своему, *текущий момент*: в деле перевода О. Вацietиса, чьи стихи много переводились, переводятся и, думается, будут переводиться еще долго. С. Морейно не впервые обращается к творчеству известного латышского поэта; ему и на этот раз удастся услышать в нем новые тона или полутона, – и в отборе стихотворений, и в переводах.

Изданная в Москве книга *Народы перед зеркалом: [Эссе. Статьи. Очерки.]*. – М.: Редакция журнала «Дружба народов»; *Культурная революция, 2014 – 392 с.* – ценное приобретение для «космополита». Тут «собраны очерки, с конца 1990-х годов печатавшиеся в журнале „Дружба народов“... В них писатели, ученые, журналисты стран „ближнего зарубежья“ рассказывают о том, какими – изнутри – видятся



им давняя и текущая история их страны, национальный характер, обычаи и особенности душевного склада их соотечественников... Во всех очерках проступают приметы того времени, когда они были написаны, поэтому расположены они в хронологическом порядке», – сообщается в аннотации. Нам эта книга интересна еще и потому, что в ней представлена и Латвия: Лайма Муктупавела. *Ну, латыши, с Богом!* Эссе о латышах с картинками из прошлого, попыткой заглянуть в будущее и даже о сексе в латышском вкусе. Перевод с латышского Алексея Герасимова.



Еще новинка – сборник стихотворений Юрия Касянича «Личное дело», который вышел из печати в самом начале 2015 года (Рига: Ridzene-1. 168 с.). В 2012 году автор, после 25-летнего перерыва, выпустил свою вторую книгу – «Пейзаж после исповеди». «Личное дело» появляется через неполных три года. В «АНКЕТЕ» (стр.3), предложенной вместо увертюры (такой подзаголовок), заметен и труд, и легкое дыхание. Чувствуется напряжение в главке «Убеждения: ФИАЛКИ» (стр. 6), названной иронической элегией, хотя ирония пока лишь в определении жанра.

Но вот следующая глава – «Дополнительные сведения» (стр. 9):

*Да, с потолка небес беру подсказки.
Бросаю камни, что на сердце давят,
в свои неполотые огороды.
Не буду ждать у моря непогоды,
из грустных мест, где наша пропала,
я на своих двоих, в которых – правда,
пойду дорогой, что легла, как скатерть,*

чтоб до кудыкиной горы добраться,
 где мягкий прошлогодний снег заносит
 слова, что как-то я на ветер бросил...
 Туда б унес как две зеницы ока
 тебя одну и, если канем в Лету,
 то лишь вдвоем и поминай как звали!
 Пока ж премьеру лебединой песни
 отложим... но – в какой короткий ящик!
 На волоске, отделившись испугом,
 живем, где платят нам не той монетой,
 не называют вещи именами,
 где всяк, без дураков, обидит муху,
 где днями – из порожнего в пустое,
 где стреляные воробьи все так же
 дерутся за какие-то коврижки,
 где горы золота сулила вечность,
 но вилами по глади вод писала...
 где солнце как безбожный одуванчик
 восходит над кисельною рекою,
 где мы живем как белые вороны
 и гнем свое – выращивая розы,
 на камне камень все же оставляя...

«Обеспечение игры» – так переводится английское «перформанс», – не хуже вполне «крутого» перформанса. Увлекает и ведет в этом стихотворении, конечно, прежде всего ритм. Для тех, кто находится в стихии русского языка, игра покажется удивительной: уместное, – и все же неожиданное, – использование фразеологизмов, устоявшихся выражений. Хоть включай в пособие (вместо имеющих скучнейших) для изучающих русский язык как иностранный. «Дополнительные сведения» погрузят иностранца во многие языковые пласты одновременно.

...«как знать удача иль беда / что не умею в общем хоре / тянуть я песни бечеву...» (стр. 11). Не раз, читая «Личное дело», убеждаемся – да: не умеет. Оттого немало причудливого в образной системе, иному не всё покажется приемлемым. Например, избыточность сравнений...

...И опять поведут за собой настроения и ощущения, мелодия («Блюз», стр. 26). И стихи, возведенные на любовном фундаменте,

печально-торжественные, молящие о понимании. *«Я тебя у небес вымалывал / в час, когда не хватало жизни»* («Анемоны», 36). *«Мы порой друг у друга украдены. / Время самая страшная мафия»* (38). В этом стихотворении не только мольба, чтобы тебя увидели, но и дар поэта видеть в другом человека, именно тебя, а не человека вообще. След этого дара – на многих и многих страницах сборника. Например, в стихах-посвящениях близким людям, единомышленникам, друзьям и коллегам. Среди весомого множества посвящений немало открытий, (впрочем, не всегда удачных). Важно, что передается атмосфера любимой Риги, которую творили, рисовали словом, лепили и украшали в продолжении полувека создатели: поэты и художники... – все те, кого знал автор, с кем сводила жизнь и поэзия. Они оживают, и вместе с ними – и творцы далеких времен: архитекторы и каменщики, мастера и подмастерья, – чередой проходят перед нами и те, кто исчезли с Рижских улиц, и начавшие свой путь совсем недавно.

«в трауре кромешном за зимой весна / что ни новый месяц мы друзей хороним / мы стоим всё чаще на пустом перроне...» («Аццкий сад», Памяти В. С., стр.52); *«...и, кажется, ей ведомо одной, / какую плату жизнь берет за страсти, / и каково у песни быть в плену...»*, «Кипрей отцвел. Аккорд возникнет сам, / поскольку, словно пух, взлетает песня, / а прах любви развеян по лесам». («Тень любви». Евг. Ошурковой, стр. 74-75); *«Что толкает склоняться и плакать над словом, / если в мире людей не осталось людей? / Представитель иного культурного слоя, / в настоящем пытаюсь я свет разглядеть...»*, *«Не печалюсь о дне, где под лампой зеркальной / кардиолог в ладонь мое сердце возьмет/ Утомленного слова, как солнца, закаты. / Но душа, как подсолнух, глядит на восток»* («Подсолнух». Вл. Френкелю, стр. 76-77).

Эрмар Свадост

Встречи с Яном Райнисом*

Эрмар Свадост (наст. имя и фам.: Николай Павлович Истомин; 1907-1971; родился в смешанной русско-латышской семье), журналист, поэт, прозаик, переводчик, мемуарист, языковед, активный участник русской молодежной культуры Латвии 1920-1930-х гг. Журналистом сотрудничал в рижских газетах, в том числе в «Сегодня» и «Сегодня вечером»; в последней, в частности, в 1927-1929 гг., опубликовал несколько очерков, посвященных Я.Райнису (1865-1929): «Я.Райнис о своей заграничной поездке»; «Я.Райнис о своей пьесе "Илья Муромец"», «У тела Райниса – сейчас после его смерти».

В июне 1941 г., в рамках массовой депортации населения Латвии, Н.Истомин был арестован и осужден на 5 лет ИТЛ. По освобождении занимался переводами, много времени посвятил вышедшей в 1968 г. (изд-во «Наука») своей книге «Как возникает всеобщий язык» – многовековой идее механического создания объединяющего людей единого языка (типа – праязыка).

Публикуемый ниже мемуарный очерк Н.Истомина, написанный в 1965 г., к столетию со дня рождения Райниса, конечно, несет на себе отпечаток эпохи (и не только в языке), но все же сохраняет и принципиальное (пусть и с некоторым перебором) представление мемуариста о своем герое – национальном поэте, оказавшемся способным в сложных условиях строительства молодого государства сохранить вкус и внимание к мировым и общекультурным проблемам.

Редакция

Познакомиться с великим латышским поэтом-революционером мне довелось на следующий день после его 60-летнего юбилея – 12 сентября 1925 года. Я был тогда учеником 7-го класса Рижской городской русской средней школы и подрабатывал, сотрудничая как репортер в рижских газетах. К нему на Задвинье я и поехал от газеты «Понедельник».

* Статья впервые опубликована в газете «Литературная Россия». 1965. № 37. 10 сент.

Был пасмурный дождливый субботний день. За стеклами автобуса мелькали пустынные улочки Торнякалнса.

А вот и № 11. Сквозь яблоневый сад виднелся деревянный особняк. Тропинка привела к боковой двери дома, украшенной по-праздничному зеленью и цветами. На дверях – ни таблички, ни карточки с фамилией хозяина, ни звонка.

Постучал. Из дальней комнаты слышались тяжелые шаги. Дверь открыла пожилая женщина. Ее черты были знакомы по фотографиям: жена Райниса поэтесса Аспазия.

Гостиная, в которую она ввела меня, была похожа на оранжерею или цветочный магазин – вся уставлена корзинами, кувшинами и вазами с цветами. Через открытые двери виден кабинет с небольшим письменным столом и полками книг. А на письменном столе и на полу разместился богатый урожай фруктового сада.

В украшенных портьерами дверях кабинета показалась невысокая худощавая фигура хозяина дома. Через минуту мы уже беседовали.

– Писать я начал еще будучи студентом, – начал Райнис (я бегло записывал), – написал сборничек стихов, но издатель, к которому я обратился, отказался его печатать. Первая неудача принесла и первое разочарование, я был удручен, долго ничего не писал...

Поэт вспоминал события жизни:

– Не могу сказать, чтобы студенческие годы были для меня тяжелыми. Как сын состоятельных родителей, я не испытывал тогда материальной нужды – частой спутницы студентов. С мрачными сторонами жизни я познакомился потом.

Поглядывая на знакомое по многочисленным фотографиям лицо поэта, на его высокий крутой лоб, на вислые седые усы, редкую бородку, я задавал вопросы:

– Каковы ваши взгляды на латышскую литературу?

– Наша литература, – ответил Райнис, – находится еще в переходной стадии... До недавнего времени она была под сильным влиянием русской литературы, отчасти немецкой. Но теперь, как известно, у нас отгораживаются от России. У нас взят курс на сближение с Западом. На наших писателей начала оказывать влияние французская литература. Не думаю, чтобы отрыв от России и ее великой литературы идет нам на пользу... В новейшей русской литературе, в советской, много интересного. Эта литература несет новые темы, а в поэзии – и новые

формы. Я особенно ценю Маяковского. Нравится мне и Есенин. Из русских поэтов минувшего периода высоко ценю Блока.

– Какая ваша настоящая работа и планы на будущее?

– Я занят изданием полного собрания своих сочинений. Эта работа отнимает у меня много времени. Из-за нее я даже отказался от поста председателя Сейма, который предлагала мне моя партия (Райнис был членом Латвийской социал-демократической партии). В октябре, надеюсь, свой труд я закончу. Хотелось бы тогда несколько месяцев отдохнуть... Планов на будущее у меня много. Есть несколько интересных тем Древнего Востока, в частности, из ассирийского и египетского эпоса. Латышских тем на сегодня как будто нет.

Райнис рассказал о своей общественно-политической работе:

– Я всегда стремился и стремлюсь к достижению полного мира между всеми национальностями, населяющими Латвию. Для плодотворной общественно-культурной работы нужна прежде всего здоровая общественная атмосфера. У нас, к сожалению, этого в полной мере еще не удалось достигнуть.

При упоминании о своей общественной работе поэт заметно ожил, загорелся.

Перед моим уходом он показал юбилейные подношения, которые получил накануне. Его особенно радовало то, что русские, еврейские и немецкие учителя вспомнили о нем наравне с латышами. По моей просьбе юбиляр подарил мне сохранившийся по сей день автограф. Под датой 12 сентября 1925 года он написал (по-русски):

«Спасибо за добрую память газете „Понедельник” и привет».

Он с удовольствием заметил, что новая газета «Понедельник» не занимается антисоветской и антикоммунистической пропагандой, в которой изощряются белоэмигрантские газеты.

Вторично я беседовал с Райнисом в январе 1927 года. Он был тогда министром образования социал-демократического правительства. Вот что, между прочим, сказал тогда Райнис, принявший меня в своем министерском кабинете:

– Прежде всего мы по мере возможности будем придерживаться демократической линии. Этот демократизм будет выражаться, например, в стремлении сделать основную школу более доступной для беднейших слоев населения. Проектируется учредить особые стипендии для нуждающихся учащихся, которые будут возвращаться ими по окончании образования, когда молодые люди будут уже иметь

свой заработок. Насколько мне известно, именно такого рода помощь правительства учащейся молодежи еще нигде не практикуется и будет применена у нас впервые.

Заговорили об экзаменах:

– Мне кажется, что экзамены в том виде, в каком они практикуются теперь, не достигают своей цели: уровень знаний учащихся ни в коем случае нельзя определить на экзамене. Кроме того, учащиеся, зная, по каким предметам будут экзамены, запускают другие предметы за счет тех, по которым придется в конце года сдавать экзамен.

Вот еще ответы министра-поэта:

– Мы ассигновали довольно большую сумму на латгальские культурные нужды, в частности, на школьное дело... До сих пор учителя начальных школ содержались главным образом за счет обществ. Теперь же значительная часть заработной платы учителям будет выдаваться государством... Будет выстроен целый ряд новых зданий для основных и средних школ...

– Министерством образования возбужден вопрос об издании энциклопедического словаря на латышском языке. Дело это очень интересное, но требует прежде всего достаточных средств, вопрос о которых еще не решен.

Свои проекты по министерству образования Райнису не удалось осуществить: он очень недолго пробыв министром.

Летом 1927 года, окончив школу, я решил уехать в Советский Союз, на свою родину, откуда в детстве увезла меня моя мать-латышка. В советском консульстве получил анкеты, там надо было указать своих поручителей. Имя Яна Райниса как друга Советского Союза было достаточно авторитетно для этого. Я решил, несмотря на наше очень отдаленное знакомство, обратиться к нему с просьбой о поручительстве.

Хотя Райнис видел меня всего в третий раз, он любезно принял меня у себя дома на улице Базницас (ныне улица Вейденбаума) и выслушал. Он понял мою неудовлетворенность жизнью в обособленной маленькой Латвии, где латышская буржуазия культивировала у населения, особенно у молодежи, враждебное отношение к Советскому Союзу, и сочувственно отнесся к моему стремлению уехать в СССР. Он собственноручно подписался на моих анкетах как поручитель, сказав:

– Я буду очень рад, если смогу помочь вам в этом деле...

Язеп Эйдус

Предлагаем вниманию читателя одно из свидетельств времен – затянувшийся эпизод из жизни человека XX в. В переводе на русский язык ниже публикуется фрагмент книги воспоминаний: J.Eiduss. «Pagājība. Atskats un vērtējums»¹, посвященный аресту мемуариста по политическим мотивам в Риге 1934 г. и последовавшему заключению.

В приложении – Записка (Собственноручные показания) некоего П.Г., вызванная повторным арестом Я.Эйдуса в 1953 г. и последовавшим заключением.

Мемуарист – физико-химик, профессор Латвийского университета; его биография принадлежит не только человеку, но и является строкой из автобиографии XX века.

Об авторе Записки – П.Г. – скажем ниже.

Воспоминания Я.Эйдуса создавались на разных языках – русском, латышском, английском, окончательно были сведены на латышском и при содействии Латвийского университета в 2004 г., спустя несколько месяцев после ухода автора, изданы. Эпизоды воспоминаний печатались и до выхода отдельной книги².

Язеп Аронович Эйдус (1916-2004) родился в еврейской семье в Витебске, куда его родных забросила Первая мировая война.

По рассказам Эйдуса-младшего, его отец – двинчанин, из социал-демократов (бундовец), участник революции 1905 г., был сослан в Архангельскую губернию, по возвращении из ссылки поселился в Лиенае («рекомендовали» поселиться в Лиенае?). Повторно Эйдус-старший оказался в Архангельской губернии в годы Первой мировой войны, когда еврейское население Курляндии частично бежало, частично было насильственно выселено во внутренние российские губернии по приказу главнокомандующего российской армии вел. кн. Николая Николаевича, опасавшегося, что нахождение еврейского и немецкого

1. Rīga. Likteņstāsti. 2004. («Прошедшее. Ретроспектива и переоценка.»)

2. См., напр.: Eiduss J. Sava laikmeta bērns // Zvaigzne. 1989. Nr.6. 4.-5., 19. lpp.; № 7. 12-14. lр; № 8. 6-7. lpp; «Энергия заблуждения». [Беседа Я.Эйдуса с Е.Борщевой.] // Родник. 1989. № 8. С. 48-53; Непростые дороги войны // Я вспоминаю (Воспоминания евреев-ветеранов Великой Отечественной войны). М. Союз евреев-инвалидов и ветеранов войны (СЕИВ). М. 1994. С. 235-248. Фрагменты воспоминания Я.Эйдуса см. еще: Физика, лирика и бомбы / Записала М. Халтурина // Час. 1998. 30 янв. С.5; Неутомимый Джо, человек-легенда / Записала Э. Чуюнова // Час. 2001. 21 сент. С.9.

населения в прифронтовой полосе может неблагоприятно сказаться на военном противостоянии Российской и Германской армий.

1920 г. Эйдусы возвращаются в Латвию, за годы войны и революции преобразившуюся из российской окраины в независимую республику. Поселившись в Риге, Эйдус-старший занялся сельдью, был представителем английских рыботорговых фирм, мать держала небольшую корсетную мастерскую, младший Эйдус, насколько можно понять, родителей своих должен был несколько стесняться и еще никак не догадывался, что его ждет в будущем.

1924-1933 г. Начальная школа и так наз. Рижская немецкая классическая гимназия, где в 30-х гг. автору воспоминаний приходилось сталкиваться с побочным и оскорбительным проявлением возрождения германского духа в виде национал-социализма. Истории гимназии Я.Эйдус позднее посвятил статью «No Domskolas līdz Valsts klasiskajai ģimnāzijai»³.

1933 г. По окончании гимназии Я.Эйдус в знак революционного протеста против классического образования поступает на химический факультет Латвийского университета, но спустя год, в ноябре 1934 г., из университета его отчисляют, отдают под суд – за участие в молодежном коммунистическом движении (нелегальном), к которому он примыкал еще в гимназические годы. В июле 1935 г. в составе группы он был осужден на четыре года принудительных работ, но по «малолетству» срок был сокращен на одну треть⁴.

О незыблемости его убеждений тех лет свидетельствует ответ Эйдуса-младшего матери, сокрушавшейся по поводу ареста и тюремного заключения сына: «Если ты не оправдываешь моих действий, можешь не ходить на свидания»⁵. Мать все же не могла согласиться с сыном, видимо, желавшем увидеть в матери Ниловну из романа М.Горького «Мать». Пришлось тогда юному комсомольцу отказать от материнских передач и не выходить на свидания с матерью⁶.

Продолжение биографии Я.Эйдуса см. ниже.

3. Skolotāju avīze. 1898. № 35. 30 aug. 10-11. lpp.

4. См. по делу: Tiesai nodoti komunisti // Rīts. 1935. № 1. 1.01. 15. lpp.; Fašistiskā Latvijā // Sibīrijas cīņa. Орган Запсибкрайкома ВКП(б). 1935. № 7. 17.01. 4. lpp.; S. Drīz iztiesās «vienotās frontes» pusaudžu prāvu // Latvijas kareivis. 1935. № 94. 26.04. 3. lpp.; Adrese uz ietinamā papīra nodevusi pretvalstiskus aģitatorus // Rīts. 1935. № 188. 17.07. 11. lpp.; Ašera Ahada Naama pulki // Tautas vairogs. 1935. № 51. 01.08. 25. lpp.

А пока посвященная событиям 1933-1938 гг. глава из его воспоминаний.

* * *

... 15 сентября 1933 г. я как полноправный студент мог переступить порог здания химического факультета Латвийского университета на бульваре Кронвальда, 4... Я учился увлеченно и довольно успешно. На втором курсе в моей жизни произошел первый большой перелом. Еще учась в школе, я включился в подпольное революционное движение Латвии. Идеей меня с ним познакомил мой двоюродный брат Бенно, студент юридического факультета, член коммунистического подполья. Он мне, моему двоюродному брату Соломону и двоюродной сестре Любе [Эйдус (Футлик)] рассказывал о марксистской теории и революционном движении Латвии. Он оказал большое влияние на наше мышление. Подобное воздействие на меня оказал мой учитель древнееврейского языка Борис Беркович, а также ученик немецкой коммерческой школы Эйжен, или Евгений (Геня) Эйхман⁷. Эйхман был потомком зажиточной балто-немецкой семьи. Им принадлежал прекрасный дом в Межапарке, на ул. Эзермалас; отец, также Эйжен Эйхман, был представителем в Латвии немецкой косметической фирмы „Bruno Frobeen”, которая производила крем „Nivea”. Сын был большим книжником, очень много читал и много знал, пользовался большим авторитетом среди друзей. Он был также активным членом молодежного кружка «Alanik».

Вместе с Геней и другими прокоммунистически настроенными молодыми людьми мы начали искать возможности установки связи с подпольными коммунистическими организациями. В конце концов, образовалась подпольная ячейка, в которую удалось включить нескольких студентов, главным образом, из местных немецких кругов.

5. Энергия заблуждения. С. 49.

6. См.: Там же.

7. См. о нем: Эйхман Евгений Евгеньевич (ум. 1997, Москва), коллекционер, библиограф (Нац. б-ка Латвии; б-ка иностр. лит-ры, Москва). Е.Е. Эйхману *Сop amogre*: редкая книга / Моск. клуб любителей миниатюр. кн., Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И.Рудомино, Моск. клуб экслибристов. М.ЯникО.1996. Благодарим Э.Меленевскую за помощь в восстановлении биографии Е.Эйхмана.

Между ними был, например, сын священника Домской церкви [Георг] Бурхард, некий Рольф Кунце, студент химфака [Эрик] Ландман, Бруно Кеблер и другие. Из руководства коммунистической партии нашей ячейкой занимался немец Кампрад, очень эрудированный человек, впоследствии уехал в Южную Америку. Среди нас появлялись также Абрам Фельдхун и [граф Фридрих (Фред, Федерико)] Медем, но их деятельность у нас была очень кратковременной. Из студентов химического факультета мне удалось привлечь студентку фармакологии Эрику Эниню. Впоследствии она стала известным психиатром. Из других подпольных организаций нас посещал Раймонд Боч, сын известного старого латышского революционера.

Наша ячейка занималась обычной работой революционного подполья. Собирались вместе, изучали марксизм и ленинизм, читали доклады о международном положении и революционном движении в Латвии, о хронике репрессий и тому подобное. Проводили и так называемую *практическую работу* – во дворах расклеивали плакаты с революционными призывами, рисовали трафареты со всякими «Долой!» и «Да здравствует!».

Организовывали на фабриках так называемые летучие митинги: когда работа заканчивалась и у ворот фабрики начинали толпиться рабочие, кто-нибудь вскакивал на ящик из-под мыла и выкрикивал революционные лозунги или произносил короткую речь, чтобы вовремя, прежде чем его схватят, успеть скрыться. Иногда на телеграфных проводах вывешивали красные флаги с революционными призывами. Распространяли листовки – или их раздавали на подобных собраниях или бросали в почтовые ящики в домах. Листовки, как и революционные газеты и журналы, печатались в подпольных типографиях. Это была самая опасная работа, хотя и любая другая такого рода деятельность была чревата арестом и тюремным заключением. Разумеется, царил строгая конспирация, у подпольщиков были клички (у меня – *Ежик*), тайные собрания (*явки*), конспиративные квартиры – все, как описано в книгах.

И все-таки наиболее рискованной работой была доставка нелегальной литературы (листовок и журналов) из подпольных типографий в революционные организации. Эту работу проводил так называемый *районный техник*, между прочим, и моя первая жена Таня Бабчина. Она была дочерью довольно состоятельных родителей, всегда очень

элегантно одетая и необыкновенно смелая. Я до сих пор не знаю – то ли от действительного бесстрашия, то ли от безрассудства. Изысканно одетая, в своих туфельках на высоких каблукках, со свертком опасной литературы, она семенила от типографии, которая находилась в перчаточной мастерской Ватера на ул. Бривибас, в подвале под бывшим кафе «Флора». Это здание было памятником старой рижской деревянной архитектуры, которое сохранялось очень долго благодаря дискуссиям о его исторической ценности. Интересно, что эта подпольная типография работала в самом центре Риги, буквально под носом у рижской полиции, и никогда не была раскрыта. Сын владельца мастерской Юрий Ватер героически погиб на фронте, а дочь Ева, фронтовой санинструктор, после войны стала врачом и сейчас живет в Израиле. Из этого дома Таня со своим опасным грузом отправлялась по ей одной известным адресам, и ни одному шпику или полицейскому не могло прийти в голову, что эта изящная барышня – связистка коммунистической организации. Ни разу она не была поймана.

В подпольной работе возникали различные рискованные ситуации, которые могли угрожать арестом. Так, например, летом 1934 г., когда мы жили на даче в Майори, произошла целая серия арестов. Жертвой одного из них стал мой двоюродный брат Бенно. Однажды, когда он распространял прокламации, его заметили, он бросился бежать, его подстрелили. В больнице Центральной тюрьмы он умер. В день его ареста к нам на дачу в Майори явились агенты политуправления, сообщили об аресте Бенно и предъявили ордер на обыск. У меня в кармане была довольно большая пачка прокламаций. В тот момент я как раз сидел в комнате в кресле. Полицейские приказали всем оставаться на местах и не двигаться. Кресло было покрыто чехлом с бахромой до самого пола. Мне удалось запрещенную литературу вынуть из кармана и незаметно протолкнуть под кресло. Шпик подошел ко мне, приподнял бахрому и посмотрел под кресло, очевидно, не очень внимательно, потому что прокламации не заметил. Во время какого-то другого обыска прокламации были уложены под матрасом моей кровати. Шпик подошел к кровати, поднял матрас с одной стороны, потом – с другой, но литература лежала по самой середине, поэтому он ее не увидел.

Подобные ситуации повторялись часто, поэтому нервы были постоянно напряжены.

15 мая 1934 г. к власти пришел Ульманис, и в Латвии установился авторитарный режим. Утром 16 мая я встретился с Илгой, дочерью латышского левого поэта Леона Паэгле, и наши первые слова были: «Значит, и у нас начинается фашизм».

Но свою подпольную деятельность я не прерывал. В стране проходили всякие патриотические мероприятия, и одно из них мы решили сорвать своей демонстративной акцией. Был снят латышский пропагандистский фильм «Сын народа» – об участии обыкновенного латышского парня в национально-освободительном движении. Премьера фильма должна была состояться осенью 1934 г.⁸ в кинотеатре «Палладиум». Наша ячейка решила его сорвать. Приготовили какую-то вонючую жидкость, которую разлили по бутылочкам, и, взяв их с собой в кино, расселись по разным местам кинозала. В условленный заранее час каждому надо было вылить содержимое бутылочек на пол под свои сиденья и броситься из зала с криком: «Караул! – вонючие бомбы!». Акция прошла очень успешно: в зале началась паника, люди бросились вон и в мгновение зал опустел. Я пошел на день рождения знакомой девочки на ул. Блаумана, где постарался незаметно присоединиться к остальным гостям, чтобы обеспечить себе алиби. Заполночь явился домой, но в 2 часа ночи за мной пришли и арестовали.

Меня отвели в политуправление, которое находилось на углу улиц Алберта и Стрелниеку. В советское время улицу Алберта называли улицей Фрича Гайля, в память подпольщика Фрициса Гайлиса, который во время допроса в политуправлении выпрыгнул из окна шестого этажа и разбился.

Арестантские помещения находились на шестом этаже, с узкими окнами, которые со стороны улицы видны до сего дня. Я заметил, что это был жилой дом, помещения которого использовали для служебных целей. Напротив этого дома находился красивый, украшенный башенкой дом в югендстиле, в котором когда-то жили писатель Рудольф Блауманис и художник Янис Розенталь и где сейчас устроен музей их памяти. Из окна тюремной камеры башенка была видна, и этот вид описан в одном из романов Андрея Упита.

Приведа меня наверх, полицейские начали соображать, куда меня поместить: в ванную комнату, в гроб или в уборную. Я, не зная смысла

8. 18 ноября – в годовщину провозглашения независимости Латвии.

этих обозначений, чувствовал себя не совсем уютно. В конце концов, меня поместили в *гроб*, который оказался просто *девичьей комнатой*. Когда меня туда впустили, там уже был один арестант, который порусски представился как Авдеев. После той ночи я его никогда больше не встречал. Через какое-то время я попросился в туалет. В туалете под потолком было окно в ванную комнату. В этом окне появился Рольф Кунце, арестованный вместе со мной. Уже из предварительного допроса стало ясно, что немецкие парни все рассказали, в том числе и о моей ведущей роли во всем происшествии. Мне больше нечего было добавить, ни в подтверждение, ни в отрицание этого факта, потому что все уже было запротоколировано согласно показаниям. Кунце на мои упреки оправдывался, как только мог.

События развивались следующим образом. Предшествующим днем я отправился в магазин Камариных на Ратушной площади, где купил необходимые для изготовления вонючей жидкости химикалии – сернистое железо и соляную кислоту. В тот же день встретился с девушкой из своей ячейки Эрикой Энинеи, которая была арестована и осуждена одновременно со мной. Вместе мы пошли на ул. Таллинас к Бруно Кеблеру, одному из членов нашей ячейки, у которого был дом с садом. В саду мы с Эрикой приготовили вонючую жидкость и разлили ее по бутылочкам. Бутылочки я раздал нашим ребятам, а часть отдал Раймонду Бочу, который обязался раздать их членам запрещенной организации *Спорт и стража рабочего класса (ССРК)*. Акция казалась действительно блестяще проведенной. Тем сильнее был я удивлен, когда среди ночи явились ко мне и увели меня в политуправление. Там все уже было известно, потому что лица, связанные с этой акцией, уже дали убедительные показания. Позднее выяснилось, что Бруно Кеблер был так напуган своим участием в этом деле, что вместо того, чтобы вылить содержимое бутылочки и спрятать ее в кармане, он просто оставил бутылочку под своим сиденьем, даже не вытащив из нее затычку. К тому же, отправляясь в кинотеатр, он в спешке схватил лежавшую на столе радиопрограмму, на которой был написан адрес и фамилия абонента.

Обыскивая зал, полицейские нашли газету и отправились к Кеблерам. Там они слегка *надавили* на него и *посоветовали* его маме уговорить сына рассказать господам полицейским всю правду, тогда они его отпустят. Этого они, конечно, не сделали, но Кеблер рас-

сказал им все, что знал, назвал им имена тех немцев, которые были членами моей подпольной ячейки)⁹: студента химфака Рольфа Кунце, сына священника Домской церкви Бурхарда, Ландмана и еще других, чьих имен я не помню. В ячейке работала также Эрика Энина; наши собрания посещал Раймонд Боч, которого в тот раз, к счастью, не поймали; спастись удалось и нелегалу Опинцану, который принимал участие в нашей группе со стороны ЦК компартии.

В политуправлении нас несколько раз допросили. Активнее всех действовал начальник Рижского районного управления Апранс (позднее советские расстреляли его) и следователь Кулманис. Не отставал от них и надзиратель Салнайс, активный и жестокий шпик, у которого была дурная слава в левых кругах Латвии. Его также в советское время расстреляли. В политуправлении собрали основные материалы для суда... Через некоторое время нас всех переправили в следственную тюрьму. Для несовершеннолетних это была пересыльная тюрьма, которая располагалась в помещении теперешней тюрьмы на Брасе.

Я со своими товарищами был помещен в мужской корпус на втором этаже, 12 камера, а Эрика со своей подругой Аустрой Пакалне – в женском корпусе. Режим в тогдашней тюрьме, как я понял позднее, был, в целом, гуманным, насколько бытовые обстоятельства в тюрьме могут быть комфортабельными. Жили мы в просторной камере с двумя большими зарешеченными окнами. Посредине – длинный стол с такими же длинными скамьями по обеим сторонам. Спали на деревянных нарах, которые в дневное время прикреплялись к стене. Имелись соломенные матрасы и постельное белье. Кормили три раза в день: утром шестьсот граммов хлеба, полтора куска сахара и кофе (впоследствии его даже забеливали); в обед – суп с несколькими кусками мяса; вечером – какая-нибудь каша. Раз в неделю давали селедку с картошкой и луком. По-настоящему мы не голодали, хотя есть все-таки хотелось, если нельзя было добыть чего-нибудь дополнительно. Разрешались передачи из дома и, если были деньги, можно было что-нибудь купить в тюремной лавке. Один раз в день прогулка. Раз в неделю разрешались встречи с близкими родственниками – в присутствии

9. Ср. ранний вариант воспоминаний Я.Эйдуса: «До своего ареста в 1934 г. я был очень активен, руководил комсомольским кружком в одной школе. А когда поступил в университет, вел группу студентов-немцев» (Энергия заблуждения. С. 49).

надзирателя, через две металлические сетки. Также разрешалось раз в неделю писать и получать письма от родственников, разумеется, через цензуру. За нарушение режима предусматривались различные наказания: *чёрный* месяц, когда не разрешались передачи и запрещались свидания, *светлый* и *темный* карцеры. В *тёмном* карцере полагалось спать на голых досках, в темноте, в нетопленном помещении, с куском хлеба, кружкой воды и парашей в углу. По утрам водили умываться и убирать *параши*. Иногда раздевали до белья, били. В *тёмном* карцере разрешалось держать заключенных не дольше семи суток, после чего следовал перевод на один день в *светлый* карцер. Так как в смысле поведения я был далеко не примерный заключенный, то в *тёмном* карцере я провел в общей сложности 31 день. Камеры были строго изолированы. Тем не менее, политические заключенные общались между собой и проводили разные акции. Существовала нелегальная система связи. Сколько могли, мы друг другу помогали, используя нам сочувствующих уголовников и даже некоторых надзирателей.

Впоследствии, в советских тюрьмах, я понял, что Брасовская пересылка была своего рода раем, о котором позже можно было только мечтать.

Исследование дела, согласно существовавшей практике, передали судебному следователю Министерства юриспруденции Креслиню, к которому меня регулярно водили на допросы. Он вел себя очень прилично. Казалось, что ему совершенно безразлично, признаюсь я или нет, назову чьи-либо имена или нет. Через какое-то время дело объявили достаточно исследованным, по существу соответствующим истине, и передали в суд.

Все это время мы, примерно пятнадцать человек, жили в 12-й камере, и надо сказать, что это время относится к счастливейшему в моей жизни. Все мы были комсомольцами, все мы были молоды, все одной системы взглядов, все жили по законам, которые мы считали коммунистическими. Все имущество у нас было общим. Наша повседневная жизнь подчинялась строгому порядку: с утра мы проводили зарядку, потом нам выдавали деревянную обувь и мы шли на прогулку по тюремному двору, а после этого начинались наши занятия по самообразованию. Каждый из нас чему-нибудь учился: кто изучал язык, кто математику, кто историю. Потом мы писали письма, а потом сообщали или читали вслух, или проводили семинары, обычно по

общественно-политическим проблемам. Мы получали газеты «*Rīts*», «*Latvijas Kareivis*» и «*Ekonomists*», которые живо обсуждали. Среди нас были люди, которые впоследствии стали всем известны. Например, писатель, какое-то время бывший секретарем Союза писателей Латвии Алберт Янсон; Исаак Чернобров, который впоследствии принимал участие в гражданской войне в Испании, павший смертью храбрых во время Отечественной войны Юрий Ватер, поэт Анатолий Имерманис. В духовном и идейном отношении это был очень важный период в моей жизни, потому что привил мне навыки жизни в коллективе.

Через несколько месяцев состоялся суд. На нем я выступил довольно принципиально, даже агрессивно, чем настроил суд против себя. Большая часть обвиняемых отделалась очень легкими приговорами, в пределах года или полутора¹⁰. Я в своем последнем слове произнес небольшую пропагандистскую речь и заработал четыре года принудительных работ, причем уже проведенные в заключении месяцы, вопреки принятой практике, не были засчитаны. Единственное облегчение мне, как несовершеннолетнему, было сокращение срока на одну треть. Отбывать срок на пересылке было нельзя, потому что это была тюрьма для несовершеннолетних и женщин, и меня перевели в Рижскую центральную тюрьму, где содержались совершеннолетние правонарушители.

Чтобы научить меня хорошему поведению, меня поместили в одиночную камеру второго корпуса, где подвергли особенно строгому режиму. Мне даже не давали книг, держали в строгой изоляции, периодически избивали и всячески издевались надо мной. Через какое-то время, когда тюрьма стала переполняться заключенными, в одиночках стали размещать еще по одному человеку. Сначала моим соседом стал комсомолец Калистрат Кириллов, русский юноша из Даугавпилса, потом переплетчик из Резекне Михаил Лившиц, с которым я просидел довольно долго.

Надо сказать, что человек, сидящий в одиночной камере, очень скоро начинает томиться от одиночества и мечтать о соседе – каком

10. Б.Кеблера осудили на 2 года, И.Лившица – на год и 6 мес., Г.Бурхарда, Р.Кунце и Э.Стразду – на год и 4 мес. Трех человек, привлеченных к суду, оправдали. См.: Tiesa. Adrese nodevusi pretvalstisku aģentu // *Latvijas kareivis*. 1935. № 153. 11.07. С. 3.

угодно, пусть даже самом неприятном человеке, только бы не остаться одному. Когда появился Лившиц, я был очень счастлив, но через какое-то время психологическая обстановка изменилась. Постепенно все о себе было рассказано, все анекдоты по нескольку раз перебраны, все реакции и движения до отвращения привычны и предсказуемы. Каждый миг в тесноте камеры мы были в непосредственной физической близости. И хотя сосед был мне идейно близок, постепенно он начал меня раздражать. Эта ситуация в психологии хорошо известна. Надо полагать, что и его отношение ко мне было таким же. Когда настало время расставания, мы оба почувствовали облегчение, хотя я понимал – Лившиц очень хороший человек и хороший коммунист. Позднее меня перевели в камеру в четвертом корпусе. Там преимущественно находились политические заключенные. Им до освобождения оставалось несколько месяцев, мне – восемь.

В этой камере содержались довольно интересные люди. Самое глубокое впечатление на меня произвел Карл Озолиньш, с которым впоследствии меня связала сердечная дружба. Он очень повлиял на мое становление как человека и как коммуниста. Он был членом Центрального комитета Латвийской коммунистической партии; позднее, в советские времена, он стал председателем Верховного Совета. Наконец, когда начались гонения на латвийских коммунистов, которых обвинили в национализме (Берклав и другие), Озолиньш тоже впал в немилость.

В целом, в камере царил тот же дух коллективизма и взаимопонимания, что и в пересыльной тюрьме, хотя обитатели ее были годами старше меня.

Хотя в латвийских тюрьмах политических заключенных не гоняли на работы, но после введения нового закона, в последние месяцы заключения, на них распространили требования, предъявляемые к уголовникам. Моих сокамерников, как и меня, определили на торфяные разработки.

10 марта 1938 г. наступило время моего освобождения, которое у меня хорошо сохранилось в памяти. У ворот тюрьмы меня ожидал агент, который отвел меня в политуправление, в кабинет ответственного работника Рижского районного управления Агранса.

Между нами произошел следующий разговор. «Ну, здравствуй, Язеп! Теперь ты чист, и с тобой можно говорить откровенно», – начал

он. Надо заметить, что в тот момент я далеко не был так уж *чист*, потому что в моем желудке находились материалы, которые коммунисты Центральной тюрьмы посылали руководству коммунистической партии. Если бы в политуправлении догадались очистить мой кишечник, то в их распоряжение попал бы заключенный в презерватив пакетик с важными секретными документами. Как бы то ни было, мне повезло, и я сумел их вынести на свободу и передать по назначению. Но никакого *откровенного* разговора, на который рассчитывал Апанс, не получилось.

Дальше Апанс спросил, хочу ли я продолжать учебу. Я ответил утвердительно. Это вполне возможно, если я соглашусь впредь сотрудничать с политуправлением в качестве тайного осведомителя. От меня не будут требовать много: рядовых коммунистов можно оставить в покое, сообщать придется только о вышестоящих партийных функционерах. Меня восстановят в университете, и я смогу спокойно жить дальше.

Не желая возбудить подозрение у чиновника своим прямым отказом, я выбрал дипломатичный ответ. Я дал понять, что произошедшее со мной отпугнуло меня от дальнейшей политической деятельности: жизнь меня слишком хорошо проучила. Апанс также ответил неопределенно: я могу действовать, как найду нужным по зрелому размышлению, но путь к сотрудничеству с ними остается открытым. Мне был дан телефон, чтобы позвонить, когда я приму решение.

Под конец Апанс меня еще предупредил: «Имей в виду, если к власти придут ваши, то ты будешь первым, кого они поставят к стенке». Он показал мне экземпляр какой-то советской газеты, где рассказывалось о проходящих судебных процессах в России против старых большевиков, в том числе и против многих латышей [и эстонцев]. Все они боролись за революцию, принимали участие в гражданской войне, занимали высокие посты в советских органах власти, а теперь были арестованы, обвинены в тяжелых преступлениях и расстреляны, например, Эйдман, Алкснис, Корк и многие другие. В известной мере, это предупреждение Апанса оказалось пророческим: когда пришли *наши*, меня действительно арестовали и репрессировали, хотя времена изменились, и приговоры больше не были такими кровавыми, как в 1937 и 1938 году.

Но в 1938 г., когда я вышел из Рижской центральной тюрьмы, советская армия еще не входила в Латвию, и мне нечего было бояться репрессий. Надо было думать о том, как жить дальше и что делать, чтобы добиться своей главной цели – получить образование. *Vorota v mir* распахнулись передо мной еще шире, и начался совсем новый период в моей жизни, открылась совершенно новая страница в книге моей жизни. Говоря словами латышской народной песни: «*Nu ardievi, dzimtenīte, nebūšu vairs šai zemē!*»¹¹. Решил податься за границу – но не навсегда. Еще было мне суждено вернуться на родину подобно Пер Гюнту или Одиссею.

Возвращаясь немного назад, надо рассказать, что в 1934 г., когда я был арестован вместе с немецкими парнями, из нашей компании удалось спастись одному молодому человеку – Вики (Авигдору) Лившицу, сыну главного инженера стекольной фабрики *Emolip* (позднее переименованной в *Саркандаугавскую*). Как только стало известно о нашем провале, отец Вики срочно отправил его в Англию на учебу.

Когда стал кончатся срок моего заключения, пришло письмо от Вики, где он советовал мне после освобождения ехать в Англию, потому что в этой стране человек не может пропасть. Там есть возможность, сдав вступительные экзамены, поступить в университет и получать стипендию.

Однако и в те времена уехать за границу было непросто, по крайней мере, для меня – политически репрессированного. Чтобы получить загранпаспорт, нужно было иметь особое разрешение политуправления, чего у меня не было. Моя мать сумела выяснить, что и в политуправлении сидят *только люди* и подошла к ним с *древне-греческим рецептом*, а именно: нет такой стены, через которую не мог бы перебраться нагруженный золотом осел. Это было не просто, но на помощь ей пришла более состоятельная родственница, тетя Нина, и вождеденное разрешение было получено. Надо признаться, что по возвращении в Латвию я не мог заставить себя пойти к тете Нине с благодарностью, и этот грех до сих пор гнетет мою совесть.

Следующим шагом было получение английской визы. В Англии была большая безработица, и иностранцев они впускали неохотно. Моему отцу все-таки удалось от одного делового партнера в Англии

11. Прощай, родимая сторонка! Тебя мне больше не видеть!

получить письмо с подтверждением, что мой отец может обеспечить мне содержание в четыре фунта в неделю, что в те времена было очень много, и чего я, разумеется, никогда не получал, так же как я никогда не встретил этого своего доброжелателя. Но визу я все-таки получил – с уверением, что в Англии я никогда не стану претендовать на оплачиваемую работу. К счастью, и это препятствие со временем было преодолено.

Наконец настал момент, когда осталось только купить билет, сесть в поезд и уехать. В туристическом агентстве Кука, которое тогда располагалось напротив больших часов «Лайма», отец купил билет



Я. Эйдус 1938 г.

третьего класса до Брюсселя и дал столько денег на путешествие, сколько тогда мог – примерно 125 латов. «Постарайся обойтись этой суммой; если не сумеешь, иди к латвийскому консулу, пусть он отправляет тебя домой, здесь рассчитаемся».

Настала последняя ночь в Риге. Тогда я еще не знал, что сплю в своей кровати и вижу свои книги последний раз в жизни. С утра родители проводили меня на вокзал. Попрощались. Больше мне было не суждено их увидеть. Война. Холокост.

* * *

Продолжим биографию Я.Эйдуса.

Латвию Я.Эйдус покидает в 1938 г., оставляет, получив на то разрешение Рижского комитета комсомола и Рижского комитета помощи политзаключенным¹². Поступает на физическое отделение Биркбекского вечернего колледжа (Birkbeck College) Лондонского университета, одновременно преподает в школе, работает ночным сторожем, на последнем курсе руководит практикой у первокурсников колледжа, как одному из лучших студентов Лондонского университета ему была предоставлена стипендия. 26 июля 1944 г. датируется следующее свидетельство:

Биркбекский колледж (Лондонский университет) <...>.

Я удостоверяю, что господин Джозеф Эйдус был студентом этого колледжа с 1938 до 1942[!] года. В 1941 году он держал полный экзамен на степень бакалавра наук в Лондонском университете.

Ему был присужден диплом 2-го класса (специальный) по физике и чистой математике в качестве дополнительного предмета.

Будучи студентом в этом колледже господин Эйдус поразил ученый персонал не только своими способностями по выше указанным предметам, но и широтой своего общего образования.

Он ушел из колледжа, чтобы вступить в русскую армию.

Секретарь колледжа Г.Ф.Труп Хорн¹³.

В июле 1941 г. Я.Эйдус завершает образование, но еще ранее, в 1940 г., надо полагать, приветствуя (пусть и насильственное) вхождение Латвии в состав СССР, принимает советское гражданство.

В июне 1941 г. Германия открывает в СССР Восточный фронт.

10 сентября. Военное Министерство Великобритании секретно извещает Советскую военную миссию, что по ее просьбе г-н Я.Эйдус может получить место на военно-транспортном корабле, время в пути – около трех недель, вес багажа г-на Я.Эйдуса должен быть ограничен четырьмя центнерами¹⁴.

Сентябрь-октябрь. Я.Эйдус, стремясь успеть сразиться с фашизмом, на английском военно-транспортном судне (в составе каравана PQ-2, который доставлял в СССР разного рода грузы) проходит опасный морской путь, в конце которого высаживается в Архангельске. Тогдашний посол СССР в Великобритании И.М.Майский на следствии по делу Я.Эйдуса говорил, что этот путь из Великобритании в СССР был открыт, но мало было охотников рисковать жизнью на военном транспорте¹⁵.

16 октября. В этот ответственный для СССР день Я.Эйдус вместе с представителями английской военной миссии на самолете добирается до Москвы, над которой, в перспективе занятия столицы СССР Германией, разносится пепел сжигаемых документов. Чудом

12. См.: Судебно-следственное дело Я.А. Эйдуса. Лат. гос. архив. Ф. 1896. Ед. хр. 2003-Л. Приложение к архивному делу № 2003-Л. Материалы проверки по делу Эйдуса Я.А. Л. 116. Ссылка на автобиографию Я.Эйдуса от 1945 г.

13. Там же. Т. 3. Л. 400. Перевод с английского переводчика МГБ?

14. См.: Там же. Т. 3. Л. 393.

15. См.: Там же. Т. 3. Л. 355.

избежав немедленных обвинений в шпионаже, Я.Эйдус вскоре вливается в состав 201-й Латышской стрелковой дивизии.

1941-1942. Тяжелые бои под Москвой. Переформирование дивизии.

Август 1942 г. – зачисление Я.Эйдуса в Школу для подготовки партизанских кадров (Москва), впереди – переброска в формируемое из Москвы партизанское движение Латвии.

1943, начало года. Поворот судьбы. Неожиданное зачисление Я.Эйдуса в переводчики и дикторы латышской редакции Московского радио.

Вторая половина 1942–1944 гг. В память о пребывании в Англии и совместном пути на военно-транспортном корабле, а также в попутном желании выяснить судьбу своего велосипеда, вывезенного им на конвое PQ-2 и доверенного в Москве своим спутникам, Я.Эйдус время от времени негласно, с использованием опыта нелегальной работы в Латвии и с помощью московских телефонов-автоматов, встречается со своими бывшими спутниками по морскому походу 1941 г. из Великобритании в СССР – представителями английской военной миссии (выходцем из России А.Бирсом – в августе 1942 г. переводчиком У.Черчилля во время его визита в Москву; и известным впоследствии писателем и публицистом Э.Крэнкшоу и др.). В 1942 г. эти встречи проходят под тайным надзором НКГБ, с февраля 1943 г. – с ведома той же инстанции¹⁷.

Декабрь 1944. Возвращение в Ригу, освобожденную Красной армией, зачисление преподавателем и заместителем декана на физико-математический факультет Латвийского университета; круг новых и старых друзей, подруг.

1945 г. Я.Эйдус принят кандидатом в ВКП(б), с 1948 г. – полноценный член коммунистической партии.

1949-1952 гг. Из материалов МГБ ЛССР:

В 1949 году проводились мероприятия по проверке заинтересованности Эйдуса в получении секретных сведений. В 1950 и 1952 гг. проводились комбинации по проверке заинтересованности Эйдуса в

16. См.: Там же. Т. 2. Л.157.

17. Лат. гос. архив. Ед.хр. П-4972-Л. Т. 10. Л. 26. Докладная записка представителя МГБ СССР от 24 окт. 1952 г. по «результатам расследования заявления бывшего старшего следователя МГБ Латвийской ССР Талибаева от 22 сентября 1952 года <...>».

установлении нелегальной связи с заграницей. Попыток использовать подставленные нами «каналы» для установления контакта с английской разведкой или получения разведывательной информации со стороны Эйдуса не было.

В 1949-1950 годах по делу осуществлялись литерные мероприятия, а в 1950 году проводился на квартиру[!] Эйдуса негласный обыск. Однако данных, свидетельствующих о проведении Эйдусом шпионской работы, в результате этих мероприятий тоже не было получено. <...>

В июне 1952 года был разработан план комбинации по захвату Эйдуса легендированной бандгруппой с тем, чтобы в ходе негласного допроса выявить его принадлежность к агентуре английской разведки.

Это мероприятие руководством МГБ Латвийской ССР отклонено и предложено предварительно согласовать его со 2-м Главным Управлением МГБ СССР. Однако это до сих пор не выполнено.

За последнее время разработка Эйдуса значительно ослаблена и выражается в агентурном за ним наблюдением.

По делу работают агенты „Искренний”, „Актриса” и „Рижанка”²⁰.

Конец 1952 – начало 1953 г. – «Дело врачей», с неопределенными последствиями.

1952 г., октябрь. Москва. Показания П.Г. на Я.Эйдуса как английского шпиона.

1953 г. 31 января. Москва. МГБ СССР. Постановление на арест Эйдуса Я.А.

1953 г., начало февраля. Я.Эйдуса под видом командировки выманивают в Москву, где 6 февраля арестовывают по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании и в «еврейском буржуазном национализме». На наш взгляд, «Дело английских шпионов», по которому шел Я.Эйдус, могло представлять самостоятельное дело. Не исключено, однако, что на каком-то этапе «шпионов» могли запараллелить с «делом врачей» в рамках далеко идущих планов и опасений И.Сталина

18. См.: Там же. Ед. хр. 2003-Л. Т. 1. Л. 68, 81. Допрос от 9 февр.; см. еще лл. 272-273, где Я.Эйдусу вменяется в вину предоставленные им англичанам сведения о следующих советских ученых: Спиваке, Рейхруделе, Ржевском, Сыркине, Фрише, Чулановском, Волькенштейне.

относительно дальнейших взаимоотношений СССР с западными странами. На допросах Я.Эйдуса разрабатываются (преимущественно по еврейской линии) его реальные и гипотетические связи с физиками и физико-химиками: академиками Д.В.Скобельцыным и П.Л.Капицей, членами-корреспондентами АН СССР Я.К.Сыркиным, С.Э.Фришем, А.И.Шальниковым, профессорами А.А.Власовым, С.В.Волкенштейном, С.Л.Мандельштамом, [Э.М.] Рейхруделем, [В.М.] Чулановским¹⁸, канд. химических наук Аб'ом Г.А. Особое внимание следствие уделяло членору А.И.Шальникову¹⁹ и его связям с границей (в частности, выявляя у Я.Эйдуса, не был ли он (Эйдус) знаком с Г.А.Велле, недавним эмигрантом, известным впоследствии переводчиком А.Сент-Экзюпери, по материалам следствия, двоюродным братом А.Шальникова). Чуть меньше внимания – Гдалию Анатольевичу Аб'у²⁰ – сотруднику ин-та органической и физической химии Академии наук СССР и других научных учреждений. Особое подозрение Г.А.Аб вызвал, видимо, тем, что его жена, Тамара Семеновна Аб (арестована в том же 1953 г.), одно время работала в Лондонском отделении ТАСС переводчицей.

11 февраля. Перспективы расширения дела Я.Эйдуса. На допросе Я.Эйдус «признал», что в 1950 г. он завербовал в качестве английского шпиона латвийского ученого химика С.А.Гиллера, а позднее «заручился агентурной связью» со следующими латвийскими учеными, ранее – москвичами: С.Б.Айнбиндером, П.Е.Куниным, А.Д.Мышкисом, А.М.Таксаром²¹.

19 февраля:

Вам [Эйдусу Я.А.] предъявлено обвинение в том, что вы, будучи враждебно настроенными к советскому государственному строю и агентом иностранной разведки, в течение ряда лет занимались шпионажем против СССР и, являясь еврейским буржуазным националистом, проводили антисоветскую националистическую работу <...>.

Итого, статьи: 58-1а (измена Родине), 58-10, ч.2 (антисоветская пропаганда и агитация), 58-11²² (антисоветская организационная деятельность, участие в антисоветской организации).

19. См.: Там же. Т. 1. Л. 254-263. Допрос от 14 марта 1953 г.

20. См.: Там же. Т. 1. Л.284

21. См.: Там же. Т.1. Л. 98.

20 февраля. Перспективы конкретизации обвинения. Протокол допроса Я.Эйдуса: «Я имел указание английской разведки наряду со сбором научной информации уделить особое внимание сбору шпионской информации об атомной энергии СССР»²³.

5 марта. Смерть И.Сталина, как следствие – аннуляция «дела врачей» и сопутствующих дел, что в дальнейшем приводит к переквалификации обвинения Я.Эйдуса на более мягкую статью.

18 апреля. Отказ Я.Эйдуса от прежних показаний: «В ходе следствия я дал неправильные показания о своей шпионской деятельности. В действительности, шпионской работой против Советского Союза я не занимался»²⁴.

17 мая. Допрос К.Е.Зинченко, до ареста помощника Генерального секретаря ООН, на предмет его возможных связей с Я.Эйдусом, знакомство с которым К.Е.Зинченко не подтвердил²⁵.

4 июня. Постановление об уточнении биографических данных Я.Эйдуса, поскольку в паспорте и военном билете Эйдус Я. по национальности значится латышом, по отчеству – Иронович²⁶.

17 июня. Допрос арестованного И.М.Майского, ранее – посла СССР в Великобритании, на предмет его знакомства с Я.Эйдусом, оказания ему помощи при выезде в 1941 г. из Великобритании в СССР и рекомендации Я.Эйдуса академику П.Л.Капице. На все вопросы И.М.Майский ответил отрицательно²⁷.

1 авг. В связи с потерей актуальности обвинение А.Эйдусу в шпионаже переквалифицировано на антисоветскую агитацию и пропаганду.

12 октября 1953 г. Военный трибунал Московского военного округа приговорил Я.Эйдуса к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества и поражением в правах на три года.

1954 – март 1956 г. Воркутинские лагеря, угольные шахты; Я.Эйдус – вентиляторщик, маркшейдер.

1954 г. Я.Эйдусу отказано в пересмотре дела.

22. См.: Там же. Т. 1. Л. 176.

23. Там же. Т. 1. Л. 195.

24. Там же. Т.2. Л. 50.

25. См.: Там же. Т.3. Л.348-351.

26. См. Там же. Т. 3. Л.367

27. См.: Там же. Т.3. Л.353-357.

Конец 1955 г. – дело Я.Эйдуса принято к пересмотру. Среди опрошенных по делу В.К.Лацис, которая 4 дек. 1955 г. свидетельствовала:

В 1947 год, когда мой муж, Председатель Совета Министров Латвийской ССР В.Т.Лацис в составе делегации Верховного совета СССР посетил Англию, проф. [Дж.] Бернал при встрече с ним поинтересовался судьбой Я.Эйдуса, сказал, что он, Эйдус, его ученик, и просил передать ему привет. В конце июня 1955 года мой муж опять встретился со всемирно известным английским ученым-коммунистом Берналом на Всемирной Ассамблее мира в Хельсинки. Вопрос Бернала о судьбе его ученика Я.Эйдуса мог создать неловкую ситуацию, поскольку моему мужу было известно об аресте Эйдуса, но не были известны действительные причины того ареста²⁸.

10 марта 1956 г., через две недели после доклада Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС о культе личности И.В.Сталина, Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла решение: за отсутствием состава преступления дело в отношении Я.А.Эйдуса прекратить, из-под стражи немедленно освободить.

27 марта 1956 г., по неспешному получению в лагере решения Военной коллегии, Я.Эйдус из-под стражи освобожден.

В отсутствие специалистов Я.Эйдус по просьбе лагерного начальства на несколько месяцев остается при лагерных шахтах на должности маркшейдера.

1956 г., не позднее сентября... и далее. Возвращение Я. Эйдуса в Ригу. Лекции в Латвийском университете, наука, история науки, чтение, музыка (включая игру на рояле и аккордеоне), путешествия по речным просторам и горным вершинам, поиски гимназических друзей и университетских товарищей, поездка в Лондон – несколько запоздалое, но торжественное вручение диплома об окончании Биркбекского колледжа, перевод и издание на латышском языке книги римского поэта и философа Тита Лукреция Кара «О природе вещей», что Я.Эйдус считал высшим своим достижением.

Попытки осмысления прошлого...

Книга воспоминаний остановлена на возвращении из лагеря. Дальше начиналась личная жизнь, этот этап еще предстояло обдумать... Продолжение предполагалось, набрасывались наметки плана.

28. Там же. Приложение к архивному делу № 2003-Л. Материалы проверки по делу Эйдуса Я.А. Л. 95.

* * *

Приложение

Ниже публикуются «Собственноручные показания» некоего П.Г., считавшего себя виновным в аресте Я.Эйдуса и его сестры Тамары Эйдус-Залите. На наш взгляд, аресты Я.Эйдуса и его сестры состоялись бы и без участия П.Г., но в освобождении Я.Эйдуса записка П.Г., возможно, сыграла некоторую роль. Во всяком случае, сам Я.Эйдус полагал, что «Собственноручные показания» П.Г. способствовали его, Я.Эйдуса, освобождению.

Несколько слов к биографии П.Г., который с университетских лет (и даже ранее) обладал репутацией человека с авантюристическими наклонностями, фантазера, хвастуна, занимателя денег без отдачи, в определенных ситуациях – шантажиста. Он и сам, уже в поздние годы, не отказывался от некоторых из этих характеристик, разве что в обрамлении эпитета – «международный».

Рижанин, выпускник Латвийского университета, в 1941 г. П.Г. оказывается в Рижском гетто, где в 1941-1942 гг. был занят на разных работах, в 1943 – июле 1944 г. в составе нескольких заключенных числился за расположенным в Клейстах (под Ригой) Институтом медицинской зоологии, где под руководством директора института, известного ученого Ф.Штайнигера (Fritz Steiniger)²⁹ проводились исследования в связи с возбудителями тифа – вшами. В институте П.Г. выполнял функцию донора вшей, его поставили на кормление насекомых. В конце весны 1944 г., когда поражение Германии было уже почти очевидно, директор института перед своим уходом в отпуск посоветовал своему «лаборанту» бежать из лагеря. Обсудив этот совет с товарищами по несчастью, П.Г. и его напарники в июле того же года бежали из института и скрывались по соседству с институтом в течение нескольких месяцев.

Осенью 1944 г., спустя несколько недель после вхождения войск Красной Армии в Ригу, П.Г., как он заверял, по собственной инициативе, принял на себя обязанности секретного сотрудника МГБ, чем впоследствии бравировал перед некоторыми своими родными и знакомыми, при этом говорил, что он не рядовой сотрудник органов,

29. Подробно см. о нем: (https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Steiniger).

а выполняет важные задания, что его даже секретно приняли в члены ВКП(б).

Что это было – хвостовство, жажда власти, неутолимое стремление распоряжаться судьбами людей, желание увильнуть от должности негласного сотрудника МГБ³⁰, попытка предупредить окружающих, что на нем лежит клеймо? В любом случае, в конце 1947 г. чрезмерная разговорчивость П.Г. привела к тому, что его лишили должности секретного сотрудника МГБ. Об этом, в частности, говорит позднее донесение начальника одного из подразделений КГБ при Совете министров Латв. ССР Сыроватского начальнику следственного отдела КГБ при СМ ЛССР подполковнику В.К.Известному от 17 янв. 1978 г.:

Сообщаю, что из имеющихся в КГБ при СМ ЛССР архивных материалов видно, что интересующий Вас Г.П.Б., 1919 года рождения, действительно поддерживал контакт с органами КГБ Латвийской ССР с декабря м-ца 1944 года по октябрь м-ц 1947 г.

Более двух лет П.Г. не то страдал, не то был рад тому, что ничто не связывает его с МГБ. В конце 1949 г. по не совсем понятным причинам, на очередном витке его неудержимой игры с «компетентными органами», с родными, друзьями и знакомыми, с самим собой он создает следующее письмо:

Руководству МГБ ЛССР

Заявление доцента Госпединститута П.Б.Г. <...>.

2 ноября 1944 г. я стал сотрудничать с органами Госбезопасности ЛССР. На это меня толкнуло честное намерение помочь в борьбе с контрреволюцией. Однако впоследствии я в своей работе с органами допускал ряд серьезных ошибок и проступков, которые, как я вынужден признать, – свели на нет пользу от моей работы и объективно даже вредили тому делу, которому я хотел и хочу помочь.

Я в достаточной мере не понимал ответственность своих задач, давал непроверенный и местами неправдивый материал, зазнавался и думал, что я сам могу решить, кого надо арестовать и кого нет, а поэтому сгущал краски там, где мне казалось, что соответствующий

30. В материалах судебно-следственного дела П.Г. упоминается его агентурный псевдоним – «Погорелец». Но, скорее всего, «Погорелец» – мистификация судебно-следственного дела. К тому же, в словаре сотрудников советских спецслужб понятие «погорелец» как будто характеризует чем-то проштрафившегося работника ведомства.

человек враждебен советскому строю.

Моя работа с органами Госбезопасности по моей вине не носила достаточно систематический и аккуратный характер. Я не учитывал, что работа должна протекать без перебоев, часто не являлся на назначенные встречи, при этом даже не находил нужным об этом предупредить работников МГБ.

В своей работе я не соблюдал правил строгой конспирации. Гонясь за быстрыми эффектами, я даже говорил посторонним лицам, что я связан с органами МГБ, несмотря на то, что в свое время давал обязательство строго хранить тайну о связях с органами.

При выполнении отдельных поручений я часто действовал недостаточно энергично, отдельные нити[?] не доводил до конца и поэтому не приносил той пользы, которую мог приносить. Я считаю, что в руководстве МГБ по отношению ко мне поступило крайне чутко, когда оно только расторгло связь со мной и не привлекло меня к ответственности, хотя и имело на то полное право.

Сегодня я полностью осознаю все эти свои ошибки; я их долго и серьезно продумал и лично уверен, что они не повторятся.

Я твердо убежден, что если Руководство МГБ сочтет возможным оказать мне еще один раз <...> доверие и восстановит связь со мной, то я своей дальнейшей работой этот аванс доверия заслужу.

Обязуюсь впредь четко, добросовестно, всеми своими силами, не жалея ни времени, ни труда выполнять все возлагаемые на меня обязанности и задания в борьбе с контрреволюцией – и за любую погрешность готов нести уголовную ответственность, сознавая, что это в таком случае будет более чем заслуженная кара.

Прошу Вас восстановить со мной связь как с секретным сотрудником органов МГБ ЛССР.

/Подпись/

Рига, 11. X. 49 г.

В МГБ ЛССР сочли за лучшее (от греха подальше?) пренебречь прошением П.Г., тем более, что к 1949 г. и позднее выяснилось, что П.Г. уже с 1930-х кем только не разрисовывал себя перед своими товарищами, родными, близкими и дальними: «...выдавал себя за агента ульманисовской политохранки и крупного карателя тайной немецкой полиции „СД“ <...>, говорил, что являлся крупным меньшевиком и в период немецкой оккупации выполнял политические поручения немецких чиновников», будто бы был он партизаном, лей-

тенантом юстиции Красной армии, участником расстрелов немецких военнопленных, преподавателем несуществующего военного училища, участником (в качестве зрителя) заседания парламента Великобритании и т.д.

В конце концов, в 1950 г. П.Г. все же был арестован, ему припомнили, что он в «корыстных целях расшифровал себя перед лицами, представлявшими оперативный интерес». В ноябре 1951 г. П.Г. был осужден на семь лет по статье – антисоветская пропаганда и агитация. На следствии П.Г., обладавший незаурядной памятью, назвал несколько сот имен, оказался «рассказчиком» широкого профиля. В его неудержимом повествовании – шпионы, троцкисты, разнообразные буржуазные националисты и даже католические священнослужители... Особое внимание на допросах и в донесениях П.Г. было уделено истории послевоенного еврейского общественного движения в Латвии, когда активисты из числа переживших Рижское (и не только) гетто, воодушевленные деятельностью и возможностями Еврейского антифашистского комитета, задумали создание организации, типа: «Союз евреев – узников гетто», полагая, что перенесенные во время войны страдания дают им право на организацию такого рода союза. Не меньше внимания П.Г. уделил лицам (в особенности опять-таки представителям еврейского населения Латвии) во время войны, по его словам, сотрудничавших с оккупантами.

Следствие по делу П.Г. спустя год вызвало жалобу одного из бывших следователей МГБ ЛССР, которую расследовала Москва. В материалах расследования отмечено, что на 24 октября 1952 г. по показаниям П.Г. прошло 130 «еврейских националистов», из этой группы оперативный интерес представляли 44 человека, из которых 10 было арестовано милицией и МГБ, 15 – разрабатывались, 19 – подлежали оперативной проверке. По показаниям П.Г. о «немецких пособниках» из числа евреев прошло 87 человек, из которых разрабатывалось четверо.

Хотелось бы понять: то ли П.Г. хотел на следствии продемонстрировать свою осведомленность, то ли под гнетом страха спешил на встречу еще даже не заданным вопросам, то ли не мог остановиться в своих литературно-авантюристических пристрастиях, которым эпоха давала почти зеленый свет, не отличая провинцию от столицы и наоборот...

Осенью 1952 г. по материалам проверки дела П.Г. наибольший интерес вызвали «шпионы». Именно в связи со «шпионами», в целях дальнейшего расследования, П.Г. этапировали в Москву, куда он прибыл в середине октября 1952 г.

Вскоре после смерти И.Сталина «шпионское дело» с участием П.Г. свертывается, его отправляют досиживать выданные ему 7 лет.

Из лагеря П.Г. выходит в конце 1954 г. Возвращение в Латвию, на октябрь 1955 г. он – учетчик тракторных работ в одной из районных МТС. В середине 1956 г. П.Г. покинул места, где его помнили и знали. Следующие 50 с лишним лет П.Г. преподавал в высших учебных заведениях Чарджоу, Махачкалы, Тулы, Владимира, его ученики и коллеги с воодушевлением вспоминают его лекции. В годы перестройки П.Г. подавал документы на вступление в КПСС, но безуспешно.

Своим предназначением П.Г. считал писательство. Кажется, издав по-немецки в 1990-х-2000-х гг. несколько романов, он в какой-то степени нашел себя и уже не нуждался в стремлении вмешиваться в реальные людские судьбы, а персонажи его романов были довольно покладисты и почти не протестовали против вмешательства автора в их судьбу.

Скончался П.Г. в 2011 году, на 93 году жизни. В том же году в одном из российских университетских городов вышел сборник воспоминаний и статей, ему посвященный. Еще при жизни П.Г., одна из статей, ему посвященных, носила название: «Живи по Г....у!».

* * *

Председателю Верховного суда СССР
от Г.П.Б.,
главного свидетеля обвинения
по делу Эйдуса Язепа Ароновича,
1916 г. р., осужденного Военным
Трибуналом Московского военного
округа в начале октября 1953 г.
к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10, ч. 2

Собственноручные показания

В октябре 1953 г. Военный Трибунал Московского гарнизона преимуществом на основании моих показаний осудил гр-на Эйдуса Язепу Ароновича, до ареста чл. КПСС, ст. преподавателя физико-математического факультета Латв. госуниверситета, к 10 годам лишения свободы по ст. 58-10. Этим приговором на основании ложных показаний осужден талантливый преподаватель и ученый, преданный сов. власти человек, коммунист, в период буржуазной Латвии борющийся за дело пролетариата и выстрадавший долгие годы заключения в буржуазных застенках; осужден человек без всякой вины.

Чтобы понять историю ареста и осуждения Эйдуса Я.А., я должен сперва рассказать о себе. Я, Г.П.Б., 1919 г. р., еврей, уроженец и житель г. Риги, в 1940-41 гг. окончил историко-филологический и юридический факультеты Латв. госуниверситета, канд. историч. наук, до 1950 г. доцент Латв. госпединститута, 5 ноября 1950 г. арестован органами МГБ ЛССР, 17 ноября 1951 г. осужден Особым Совещанием при МГБ СССР к 7 годам лишения свободы по ст. 58-10, ч. 1 и ст. 121. 1 декабря 1954 г. определением Кировского облсуда досрочно освобожден с применением Указа от 14.07.1954³¹, ныне временно проживаю в г. Лиепая, ул. Кр. Валдемара 17-а, кв. 4.

С Эйдусом Язепом Ароновичем я знаком с 1933 г. и о его прошлом мне известно следующее. Эйдус происходит из семьи, которая неоднократно преследовалась охранкой бурж. Латвии. Почти все его двоюродные братья и сестры отбывали долголетние тюремные наказания за коммунистическую деятельность. Один из его двоюродных братьев убит охранкой. Сам Эйдус уже с 1931 г. имел коммунистические убеждения, вступил в подпольную организацию комсомола. В течение 30-х годов он был арестован и осужден Окружным судом в Риге к двум или четырем годам заключения (точно сейчас не помню). После выхода из тюрьмы для Эйдуса все возможности учебы были закрыты, он уехал в Англию, где пребывал в Лондоне до 1942 г. После начала войны Эйдус использовал первую возможность для возвращения из Лондона в СССР, чтобы участвовать в войне. В 1944 г. Эйдус вернулся в Ригу, где стал работать зам.

31. Речь идет об условно-досрочном освобождении осужденных из мест заключения.

декана физического факультета, до 1946 г. он был членом комитета ВЛКСМ ЛГУ, в 1946 г. был принят в ряды ВКП(б). Поскольку я мог наблюдать – я до 1948 г. также работал в ЛГУ – Эйдус работал хорошо, пользовался большим авторитетом у студентов, слыл отличным педагогом и выполнял большую общественную нагрузку. С Эйдусом я возобновил наше знакомство в конце 1944 г. и до 1949 г. встречался с ним в университете. Летом 1948 г. я стал дружить с его сестрой, Эйдус-Залите Тамарой Ароновной, преподавателем английского яз. на факультете пединститута, после чего летом и осенью 1949 г. часто бывал на их общей квартире в Риге, по ул. Кр. Барона. Зимой 1949/50 г. я у Эйдусов бывал реже, но отношения наши остались дружескими до моего ареста.

1 ноября 1944 г. я добровольно и по собственной инициативе стал секретным сотрудником органов МГБ и сотрудничал с органами до моего ареста в 1950 г.³² На протяжении этого периода сотрудники МГБ меня несколько раз ориентировали на Эйдуса и его сестру, и я в 1946 и в 1949/50 подал несколько агентурных донесений. В них я сообщал о связях Эйдуса и его сестры, отнюдь не контрреволюционных, но все же могущих иметь интерес для органов МГБ. Ничего преступного я у Эйдуса не замечал и, следовательно, не сообщал.

5 ноября 1950 г. я был арестован. Руководство МГБ мне открыто заявило, что я арестован не за какое-либо преступление, а за то, что я слабо работал на органы МГБ и что мне под арестом придется наверстывать пропущенное. Меня обвиняли в том, что я также скрыл из известных мне контрреволюционных действий моих знакомых. На деле, как потом выяснилось, я ничего не скрыл и никогда не занимался антисоветской агитацией. В январе 1951 г. меня вызвали на допрос тогдашний нач-к Первого отделения Второго отдела (операт.) МГБ ЛССР м-р Михайлов А.П. и оперуполномоченный Второго отдела (операт.) л-т Ларин. В беседах со мной они прямо высказались, что считают Эйдуса Язепа шпионом, при этом Ларин еще выразился, что «Эйдус никогда бы не приехал из благоустроенной жизни в Англии в СССР, если бы не был шпионом». Это – явно антисов. утверждение, чему я тогда возражал, и я о нем сообщил зам. министра Госбезопасности полковнику Пешехонову Ф.В. Михайлов и Ларин заявили мне, что мне о преступной деятельности Эйдуса

32. Ср. выше справку 1978 г. о времени сотрудничества П.Г. с МВД ЛССР.

должно быть известно и что я ее скрываю и т. д. Мне было предложено собственноручное показание об Эйдусе, что я и сделал. В этом собственноручном показании я оговорил Эйдуса впервые, показав, что он в 1934 г. был связан с троцкистами – чего и в помине не было, и что он в 1944 г. по поводу попытки выселить его из квартиры якобы сказал: «Живешь, как в джунглях, где на тебя из-за каждого куста может напасть какой-то бюрократ». На самом деле Эйдус никогда ничего подобного не говорил.

Оперуполномоченный Ларин тогда сказал: «Пара крепких антисоветских высказываний с его стороны – и мы посадим его и потом уже докажем, что он шпион». Впоследствии с января 1951 г. по сентябрь 1951 г. сотрудники МГБ ЛССР неоднократно беседовали со мной об Эйдусе, уверяя меня, что он «должен быть шпионом», и что я пропускаю великий шанс в своей жизни, ибо, являясь другом его сестры, я мог разоблачить его. В отношении меня же они говорили: «Дайте нам хотя бы одного живого шпиона, и мы вас сразу же отпускаем». В сентябре 1951 г. меня самого стали обвинять в шпионаже в пользу англичан. Тогда я в порыве авантюризма «признал», что в период буржуазной Латвии был английским агентом, потом потерял связь, а после войны «Эйдус Язеп в беседах со мной давал якобы понять, что ему о моей прежней работе на англичан известно». Я давал эти показания с расчетом, что их явно недостаточно, чтобы арестовать Эйдуса и что возможно органы пойдут на то, чтобы освободить меня, дабы я мог «разоблачить Эйдуса». Однако руководство МГБ ЛССР в то время находилось в руках честных советских людей и не шпиономанов и вредителей из центрального МГБ. Эти мои «признания» даже не были записаны. Я на другой день спохватился, что я наделал и взял все назад. После этого к этому вопросу больше не возвращались до ноября 1952 г. На протяжении двух лет я находился во Внутренней тюрьме МГБ ЛССР. В октябре 1952 г. меня вызвал на допрос м-р Михайлов и велел самого себя допросить об Эйдусе Я. и его сестре Тамаре (протоколы своих показаний составлял обычно я сам). И вот, 10 октября 1952 г. в 2.00 часов ночи состоялся роковой для Эйдуса разговор между мною и м-ром Михайловым. М-р Михайлов заявил мне: «Что Эйдус Я. шпион, это теперь точно известно, только нет доказательств. Вы правильно указали, но как это доказать? Он, сволочь, установил связь с атомными физиками СССР, и он один больше помогает англичанам, чем целая

агентурная сеть». Далее Михайлов и я состязались между собой в перечне разных «косвенных уликах» о шпионской деятельности Эйдуса и «таинственных противоречиях» в его быту и образе жизни. Мы пришли к общему выводу, что «из всех лиц, приехавших из Англии, „Интеллидженс Сервис» об одном только Эйдусе – коммунисте, политэмигранте, мог предположить, что советские органы его не заподозрят и поэтому только его они и заслали в СССР», и подобные рассуждения. После этого разговора Михайлов самым лестным образом отозвался о «моих способностях контрразведчика» и предложил все это включить в протокол об Эйдусе. В этом протоколе я сам себя «допрашивал», отвечая, что «о шпионской деятельности Эйдуса Я. мне ничего не известно, но я убежден, что он английский агент», после чего я привожу все «доводы» Михайлова и мои собственные. Зная Михайлова как серьезного человека и отнюдь не сторонника арестов, я был действительно убежден, что имеются кое-какие данные о шпионской работе Эйдуса. Поэтому, чтобы облегчить его арест, я к ранним своим выдумкам еще прибавил кое-что. На допросе от 10 октября я «вспомнил», что Эйдус однажды будто бы заявил, что «советским людям остается еще много учиться, чтобы дорасти до уровня среднего англичанина». Кроме того, я показывал, что Эйдус хранит у себя а/с книги. Ни того, ни другого и в помине не было, но я вошел в азарт, чтобы только участвовать в разоблачении настоящего шпиона. Ведь на протяжении двух лет я был использован органами МГБ по разоблачению целого ряда лиц, которые все оказались «липовыми» шпионами. Наконец, я своей интуицией поймал настоящего! Я прошу мне поверить, но я тогда не думал о свободе, о награде. Я был готов не только оговорить Эйдуса, но и себя, если бы это сумело дать результат. На другой день я предложил Михайлову освободить меня на два-три месяца из-под стражи и [я] обязуюсь разоблачить Эйдуса до конца. Я, несчастный дурак, не понимал, что играю с огнем и что все мое поведение внушало органам МГБ не только уверенность, что Эйдус – шпион, но что я твердо об этом знаю и связан с ним.

18 октября 1952 г. меня перевели в Москву, во внутреннюю тюрьму МГБ СССР, в распоряжение Второго ГРУ СССР (нач. отдела полковник Рулеев [Рульев? – Б.Р.], начальник отделения – полковник Полянский и следователь – капитан Кашин).

Там меня прямо обвинили в английском шпионаже и подверг[а]ли

два месяца подряд непрерывным ночным допросам без возможности днем отоспаться. Я, разумеется, отрицал, после чего 23 декабря 1952 г. я был зверски избит в кабинете начальника внутри. тюрьмы и в наручниках отведен к какому-то генералу, которого выдавали за зам. министра МГБ СССР. Он подтвердил мне, что пытки ко мне применяют с его разрешения, и что они будут повторяться, если я не расскажу правду о своей шпионской работе. Я продолжал отрицать, но когда следователь Кашин вдобавок еще и издевался надо мной, я решил им как следует отомстить и начал давать «показания о своей шпионской деятельности». При этом я свои выдумки строил на двух принципах: первое – все «факты» о моей «шпионской работе» были таковы, что я сам, но только я, мог бесспорно доказать их ложность. Во-вторых, я не втянул каких-либо других лиц в качестве своих «связей» по английской разведке, называя только либо умерших, либо незнакомых иностранцев. Через несколько дней мне опять пригрозили пыткой, если я не назову «живых людей». Тогда я назвал Эйдуса Язепу, вспомнив твердое заверение Михайлова о том, что он шпион. Я тогда полагал, что Эйдус будет арестован и разоблачен как шпион, одновременно выяснится, что в этом деле я ни при чем, но заслуга разоблачения все же будет не за мной. Поскольку Михайлов тогда говорил, что он допускает неосведомленность сестры Эйдуса Тамары о шпионской деятельности брата, то я пока отрицал ее шпионскую деятельность, но 16 февраля 1953 года, когда мне полковник Кондрашов заявил, что без показаний на Эйдус-Залите Т. А. нельзя добраться до ее брата, я показал о том, что она знала о шпионской деятельности брата и моей. Эти свои показания я подтвердил одному из военных прокуроров МГБ, после чего Эйдус и его сестра были арестованы и этапированы в Москву.

Эйдус Язеп был подвергнут нечеловеческим пыткам, после чего он оговорил себя, «признал», что он английский шпион и что он завербовал меня. В деталях наши показания совершенно разошлись, ибо он не мог знать, что я выдумал, но это сотрудникам Второго ГРУ МГБ СССР было довольно безразлично. В апреле 1953 г. все «дело Эйдуса» лопнуло. Соответствующими протоколами было установлено, что, как меня, так и его истязали. Все «шпионские дела» отпали. Но вместо того, чтобы честно признать свою ошибку и отпустить Эйдуса и его сестру, органы МВД СССР, т. е., те же лица, тот же Рулеев [Рулъев? –

Б.Р.], тот же Кашин и тот же военный прокурор Приходько и др. теперь приложили все усилия, чтобы добиться осуждения Эйдуса и его сестры хотя бы по ст. 58-10, ст., служившей уже долго последним спасением обанкротившихся следователей из МГБ. Для совершения этого вредительства Рулеев [Рульев? – Б.Р.] и компания нашли достаточно трусливого и подлого подручного в моем лице. Самыми тонкими и рафинированными инсценировками они давали мне понять, что если я хотя бы останусь при своих показаниях об а/с высказываниях Эйдуса Язеп, меня могут освободить, если же я откажусь даже от этих показаний, то они свалят всю ответственность за необоснованный арест Эйдусов на меня и привлекут меня за к/р саботаж. Дали мне очную ставку с Эйдусом. На очной ставке я продолжал оговаривать его, утверждал, что он

1) когда-то был связан с троцкистом Шейер (которого он знать не знал);

2) летом 1949 г. заявил, что жизнь в СССР как в джунглях, где из-за каждого угла может напасть какой-то бюрократ (моя выдумка от начала до конца);

3) летом или осенью 1949 г. заявил, что советские люди должны еще долго расти, чтобы достигнуть уровень среднего англичанина (ничего подобного он в жизни не говорил);

4) что мне со слов его сестры якобы известно о том, что Эйдус Язеп разделял взгляды сестры по некоторым вопросам а/с характера (когда у самой сестры а/с взглядов не было).

Эти же ложные показания я подтвердил перед судом Военного Трибунала МВО. Эйдус, разумеется, все это отрицал. Он признал, что, возможно, в 1944 – 1946 гг. в моем обществе или рассказал или слушал а/с анекдоты. У меня хватило ума по крайней мере это отрицать, ибо Эйдус мне никогда не рассказывал а/с анекдотов, и это лжепризнание с его стороны – результат изнурительного следствия и безразличия к своей участи. Вышеуказанные показания легли в основу его осуждения. Я их объявляю ложными от начала до конца. Я прошу учесть, что я только две недели тому назад вернулся на свободу. Мало того, что я по своему делу – т. е. по ст. 58-10, ч. 1 осужден несправедливо и добиваюсь и бесспорно добьюсь полной реабилитации. Иными словами, что я, едва получив свободу и накануне реабилитации добровольно подвигаю себя новым неприятностям.

Я прошу мне поверить, что арест и осуждение Эйдуса – вредное дело для Сов. государства и помочь мне в моем искреннем стремлении теперь исправить то, что я натворил, помогая бывшим сотрудникам МГБ угробить честного сов. человека.

Настоящие показания я собственноручно написал и подписал в гор. Елгава Латв. ССР 29 декабря 1954 г.

Подпись – П.Г.

Записка П.Г. хранится в домашнем собрании Я.Эйдуса. С незначительными изменениями текст Собственноручных показаний П.Г. содержится в Судебно-следственном деле Я. Эйдуса³³.

Сведения о П.Г. (его полное имя в предисловии и далее сокращено до инициалов) в основном, заимствованы из его судебно-следственного дела, тома 1-10.

33. Приложение к архивному делу № 2003-Л. Материалы проверки по делу Эйдуса Я.А. Л.55-63.

Инеcса Карбанова

ИДУ ВОСЛЕД

22 июня в России отмечают печальную годовщину – 70-летие начала Великой Отечественной войны.

Мне очень часто приходится, объясняя какие-то свои идиосинкразии, говорить: «Я – ребенок военного времени», поскольку я родилась в 1939 г. – в год начала II мировой войны. А Великая Отечественная война для меня и моих самых близких людей началась не с сообщения В.М.Молотова по радио в 12 часов дня, а в пятом часу утра 22 июня 1941 года.

Каким он был, этот день? По-настоящему – я не помню. Мне в то время было два года и пять месяцев с несколькими днями. Но я этот день хорошо представляю. Наверное, по рассказам взрослых, особенно моей бабушки, у которой я была первой и любимой внучкой. Моя любимая бабушка мне рассказывала всегда очень много. И я любила слушать эти рассказы.

Возвращаясь к 22 июня 1941 г. – что я знаю совершенно точно, это то, что в этот день, я в последний раз видела своего отца, Юрия Павловича Карбанова, кадрового офицера Красной Армии.

Жили мы тогда в городе Августове, в Польше.

Я помню, что после войны, когда началась моя сознательная жизнь и когда надо было часто писать автобиографии (когда принимали в комсомол, когда я поступала в университет, когда принимали на первую в моей жизни работу, а потом и в аспирантуру и в прочих подобных случаях) и заполнять многочисленные анкеты для всевозможных отделов кадров, мне всегда приходилось объяснять, что «теперь это Польша», а «тогда», то есть в 1941 году, «это была Западная Белоруссия». Но «откуда, мол, и что это за, – по слову поэта, – географические новости», а точнее – геополитические превратности, я еще очень долго представляла себе весьма смутно. Только во времена перестройки, когда в Латвии, где я живу с августа 1946 года, да и во всем западном околосоветском пространстве стали громко и настойчиво говорить о «Молотовско-Риббентроповском» пакте 1939 года, я поняла, что и наша семья оказалась втянутой в эту дурную цепь дурных событий дурного XX века.

Родилась я в январе 1939 года в Минске, где в то время учились мои родители: мама – в педучилище, а папа – в военном училище, по

окончании которого он и был направлен, как это тогда называлось, на укрепление новых западных границ нашей великой Родины.

Родители мои были очень молоды, когда произвели меня на свет: маме было 17 лет, папе – 19. Но оба оказались на высоте тех трудных задач, которые жизнь поставила перед ними. 19-летний мальчик взял на себя ответственность не только за свою юную жену и новорожденную дочь, но и за новых родственниц: сорокалетнюю тещу, мою бабушку, и двенадцатилетнюю свояченицу, мамину сестру, мою тетю Тамару. То есть на его руках сразу оказалась довольно большая семья, заброшенная в достаточно проблемную, чтобы не сказать – откровенно враждебную среду.

По рассказам бабушки, таких, «перемещенных» советских семей в Августове было немало. Очевидно, работала и средняя школа, потому что перед самой войной моя тетя Тамара окончила 7-ой класс. Мама моя работала воспитательницей в детском доме для польских детей, оказавшихся «вдруг» сиротами после вступления в «Западную Белоруссию» советских войск; бабушка нянчила меня и вела домашнее хозяйство.

Здесь уместно сделать небольшое отступление о моих прапродителях.

Моя бабушка со стороны мамы, Александра Оттовна Коваленко, по национальности была латышка. Она была из тех латышей, которым после отмены крепостного права не только было разрешено, но которых настоятельно агитировали за переезд на сугубо русские территории, главным образом, в Сибирь и в другие губернии, где было свободной земли больше, чем в маленькой Лифляндии, как тогда называли Латвию. Так в Смоленскую губернию переехали мои прабабушка и прадедушка, Стэнке Юлия Ивановна и Отто Индрикович. Как я узнала значительно позднее, в Смоленской губернии образовалась довольно большая латышская колония, около 7 тысяч человек. Ко времени переселения у моих пра-прапродителей была одна дочь, а остальные – 2 мальчика и 5 девочек родились уже в России. И начальное образование они получили в церковно-приходской школе Починковского уезда Смоленской губернии. Поэтому моя бабушка своим родным языком считала русский, хотя и разговорным латышским тоже владела. С августа 1946 г. мы жили в Латвии, но моя бабушка до конца жизни оставалась большой патриоткой Смоленской земли.

После окончания гражданской войны в России латышам было разрешено вернуться на свою родину, но из всего многочисленного семейства Стэнке никто этим не воспользовался: все девочки и мальчики повыходили замуж и попереженились на местных. Моя бабушка вышла замуж за витебского белоруса Коваленко Романа Михайловича и в 1919 г. у них родилась первая дочь Нина, в 1922 г. – моя мама Людмила, в 1927 г. – Тамара. Мой дедушка был простым мастеровым, с настоящими «золотыми» руками, с некоторыми даже артистическими данными, но очень рано обнаружил одну из почти тоже почитаемых за профессионально-национальную наклонностей – к алкоголю. Это всю жизнь вносило разлад в отношения бабушки с дедушкой, они периодически расставались. Вот так и оказались моя бабушка и моя младшая тетя Тамара с нами в Августове.

Город Августов – совсем небольшой, наверное, немногим больше 10 тысяч жителей, но расположен в очень красивом месте, в районе лесов и Мазурских озер, некоторые из которых соединялись еще системой каналов.

Накануне рокового дня 22 июня наша дружная семья планировала в воскресенье отправиться на пикник, на какое-то из озер. По рассказам бабушки, папа где-то недели за две до начала войны рассказывал, что немцы по другую сторону границы проявляют какую-то подозрительную активность, что там все время происходят какие-то передвижения, перемещения, какое-то умножение видимого воинского состава. Надо полагать, что нечто подобное отмечалось и замечалось и на других участках нашей западной границы. Очевидно, и сообщалось об этом куда следует. Тем не менее, начало войны, как мы теперь очень хорошо знаем, оказалось совершенно «неожиданным» для тех, кто отвечал за безопасность нашей страны.

Как бы то ни было, в субботу, 21 июня 1941 года, семья наша отправилась спать в полной готовности к приятной воскресной прогулке. Проснулись мы все, однако, значительно раньше, чем было запланировано – от звуков артиллерийской канонады. Отец сразу оделся и ушел в свою часть. Мне не раз рассказывали, что перед уходом он сказал: «Балуется немец на границе. Ну, ничего, сейчас мы его утихомирим. Я скоро вернусь!». Больше мы его не видели. И только весной 1945 г., когда нас освободили и репатриировали в Витебск, где семья моей мамы жила до войны, мы узнали о том, что

Карбанов Юрий Павлович, ст. лейтенант, заместитель командира стрелкового батальона 283 стрелковой дивизии, погиб 3.10.1942 г. в Тульской области.

А мы остались в Августове, где немцы уже в 6 часов утра на городской площади расстреливали людей. Квартира, в которой мы занимали одну комнату, как раз была расположена на этой самой площади. Мое – личное, визуальное, не по рассказам взрослых воспоминание – большая (как мне тогда казалось) комната, полутемная, потому что ставни закрыты, и мы вчетвером – бабушка, мама, Тамара и я, сидим тесно прижавшись друг к другу и молчим, потому что боимся разговаривать. А уже потом мне неоднократно взрослые рассказывали, что когда раздавались выстрелы, я закрывала голову подушкой и просила: «Закройте, закройте меня!».

Дальше я сама не помню и не могу восстановить причинно-временную последовательность событий. Следующее, что я помню: мы живем уже не в центре города, а на самой его окраине. По моим смутным воспоминаниям, за нашим домом уже не было других домов. Помню, что и улиц других не было, зато был канал. И все у нас так и говорили: «Мы живем на канале». Летом наличие канала очень скрашивало жизнь детей и молодежи.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах наша семья соединилась с семьей сослуживца и друга моего отца Анатолия Зуева, которая так же, как и мы, оказалась на долгое время отрезанной от нашего, советского мира. Ситуация у Зуевых оказалась еще драматичней, чем у нас. Дело в том, что у него перед самой войной, очевидно, в 1941 году (точнее не помню, знаю только, что они были на два года моложе меня) родились девочки-близнецы, Рита и Люда. И сам Анатолий, и его жена Клавдия были так же молоды, как и мои родители. У Анатолия тоже была младшая сестра Анна, которая училась в одном классе с моей тетей Тамарой. Наверное, эти две девочки-подростки, две подружки, и стали побудительной причиной объединения наших двух семей, которое, без сомнения, помогло нам всем выжить. Бабушка моя присматривала за малышкой, «девчонки», как мы их называли, Аня и Тамара, где-то работали (единственное, что я об этом помню, это то, что одно время они работали на какой-то фабрике, которая производила всевозможнейшие щетки), моя мама и Клава работали у окрестных крестьян, и платили им в основном

натурой – картошкой и другими овощами, мукой, крупами, благодаря чему мы не умерли с голода.

Иногда во время летней страды кто-нибудь из нашего семейства отправлялись на какой-нибудь из хуторов и тогда все мы переходили на «подножный корм» – грызли морковку, горох, бобы, а обедали мы за одним столом с нашими хозяевами. Я до сих пор помню и люблю некоторые особенности кухни тех мест. Например, щи (из кислой ли капусты или из щавеля), горячие борщи или холодные свекольники я ем не с хлебом, а с отварной картошкой. А самое мое любимое блюдо – это то, что в Литве называют «цепеллины», а там тогда называли «колдуны», с ударением на предпоследний слог.

После начала войны отношение к нам поляков изменилось. О том, каким оно было до войны, я точно сказать ничего не могу. Я только по своему теперешнему знанию истории XX века и по теперешнему своему жизненному опыту могу предположить, что на нас смотрели, как на оккупантов, и особой симпатии к нам со стороны коренного населения ожидать не приходилось. Да и сколько-нибудь тесных контактов у нас с ними не было.

Правда, мама, как я уже говорила, работала в детском доме, причем в особом детском доме. Мама была очень способным человеком, быстро научилась говорить по-польски. По-польски научились говорить со временем мы все, но лучше всех, без акцента и с богатым словарным запасом говорили мама и я (я, впрочем, со специфическим, детским словарным запасом). Кроме того, у мамы был прекрасный голос, настоящее меццо-сопрано. В педучилище, где она училась до войны, ей даже прочили блестящее будущее. Ее готовили как музыкального руководителя, поэтому она была знакома с азами музыкальной грамоты, прилично играла на фортепьяно и прекрасно – на гитаре. Будучи человеком порядочным и добрым по природе своей, она своих воспитуемых не обижала, напротив, даже со временем завоевала их хорошее отношение к себе. Но к советской системе, которую мы все там в то время представляли, по рассказам взрослых, все, и взрослые, и дети относились с нескрываемой враждебностью.

После начала войны мы как будто уравнились в положении – мы все теперь были одинаково бесправны, мы все жили в состоянии постоянного страха, в ожидании каких-то репрессий.

Постепенно стали завязываться какие-то человеческие отношения.

В первую очередь, это случилось в нашем детском мире. Мы пере-знакомились со всеми соседскими детьми. Помню, со мной подружилась девочка, года на два старше меня, Тереза. Она мне покровительствовала, защищала меня от маленьких драчунов. Главное же – она была очень озабочена спасением моей души, потому что, будучи сама правоверной католичкой, ужасалась нашему, «советок» (так нас называли поляки) безбожию. Очень близко от нашего дома, чуть ли не во дворе, был костел, маленький, деревянный. Она туда меня водила и объясняла мне, как там все красиво, благообразно, какие там торжественные церемонии происходят, пробовала учить меня молитвам, обучала каким-то ритуальным жестам, рассказывала мне о рае и аде и очень просила меня, для спасения моей души, соблюдать посты. Впрочем, насколько я теперь понимаю, «не-постов» у нас в то время не было и не могло быть.

Помню, что взрослые дразнили меня моим первым «поклонником», пятилетним мальчиком. Его звали Тадеуш. Уменьшительно-ласкательная форма его имени по-польски писалась Тадзик. Наши тут же превратили его в Тазика: «Твой Тазик пришел».

Очевидно, в большом, т.е. недетском, взрослом мире происходило что-то серьезное. О реальном положении на фронтах мы как простые обыватели знать что-то точно не могли, потому что жили в полной информационной блокаде: все радиоприемники были у населения отняты, прослушивание их было категорически запрещено. Помню, рассказывали, как на нашей улице ночью арестовали молодую девушку, русскую, за то, что она ночью по утаенному приемнику слушала Москву. Часто в гости к Тамаре и Ане – они постепенно выросли и хорошели – заходил молодой человек Янек. Он был немного старше их и, надо полагать, ему просто нравились две молоденькие и хорошенькие девушки. Насколько я помню, он ни одной не отдавал предпочтения, но, может быть, с целью невинного оболъщения, намекал им на свое участие в каком-то сопротивлении.

В городе постоянно случались какие-то обыски и облавы. Жертвой такой облавы стал хозяин того дома, в котором мы жили «на канале», пан Леон: один раз он попал в такую облаву, когда «забирали» то ли определенное количество человек, то ли в определенном районе города пойманных людей, уводили или увозили куда-то. Безвозвратно. О пане Леоне мы все горевали: и его жена, и вся наша семья, и сосе-

ди. Наверное, он был очень добрым человеком. Что я знаю точно, по рассказам взрослых, это то, что он очень любил детей, а у него самого их не было. Он очень часто навещал наше «сдвоенное» семейство, потому что этого добра у нас хватало. Его жена слегка его ревновала к нам всем. Во всяком случае, она всегда говорила: «Опять пойдешь в этот колхоз?». В моей детской памяти он сохранился как старый (во всяком случае, он был старше и моей мамы, и Клавы – наверное, он был в возрасте моей бабушки, а ей-то было немногим больше сорока лет), очень худой и очень длинный – в отличие от своей жены, маленькой и кругленькой «пани». Они оба частенько подкармливали – и меня, и двойняшек. У них около дома был небольшой огородик, где какие-то грядки возделывали и мы, – так мы сообща выживали.

Помню где-то летом (наверное, сорок третьего года) прошел упорный слух, что кого-то из жителей (то ли поляков, то ли советских, то ли и тех и других, то ли только детей) будут вывозить куда-то на запад. Помню, как в доме начали собирать какие-то вещи в дорогу. Помню, как моя тетя Тамара сшила мне какую-то тряпичную сумочку, куда положила бумагу с записью моего имени, фамилии, даты рождения, и повесила мне на шею с наказом никогда не снимать ее, чтобы я не забыла своего настоящего имени и имен своих родных. К счастью, эта угроза не реализовалась. Зато следующим летом, т.е. летом 1944 г., и моя тетя Тамара, и ее подруга Аня были вывезены («угнаны», как мы тогда говорили) в Германию. Как потом мы узнали, для выполнения разных работ, и в сельском хозяйстве, и на военных заводах – кто куда попадет. К счастью, обе они выжили, но узнали мы об этом только после войны.

Все время, с лета 1941 до лета 1944 г., мы жили в глубоком тылу, ничего по-настоящему не зная о реальном положении дел на фронтах. Летом 1944 г. фронт как-то очень быстро к нам приблизился и надолго, до января 1945 г. остановился как раз в районе Августова и Белостока.

В моем детстве этот год – 1944-45 – оказался самым тяжелым и драматичным, когда жизнь наших двух семей оказалась в реальной опасности.

Еще весной 1944 г. у меня вдруг начала болеть левая нога. Я помню, что меня раза два водили к одному знакомому русскому врачу, который ощупывал мою ножку, ничего без рентгена, естественно, обна-

ружить не мог, советовал делать согревающие компрессы, которые мне не помогали. Ситуация осложнилась в одну ночь, когда наш городок впервые был подвергнут бомбардировке нашей, советской авиацией. Все дальнейшие события я излагаю по рассказам взрослых, потому что более полугодом провела в состоянии полу- или полностью бессознательном.

Каким-то образом наш «колхоз» подготовился к этой ночи. Очевидно, были получены известия от тех же польских окрестных крестьян. Может быть, где-то кто-то уже нечто подобное пережил. Во всяком случае, мама мне рассказывала, что когда над городом пролетали наши самолеты, то все наше семейство высыпало на улицу – и песнями, и плясками, и жестами выражали свою радость. Поляки же говорили: «Вам хорошо, это ваши летят, вам ничего не будет, а вот нас они разбомбят!». Трагическим образом это абсурдное предсказание реализовалось.

Как бы то ни было, взрослые решили обезопасить себя: своими слабыми силами наши женщины (Тамара и Аня еще не были «угнаны») посреди двора выкопали не очень глубокую яму, прикрыли ее какой-то старой дверью, присыпали сверху землей и забрались туда на ночь. Поляки же собрались в том старом деревянном костеле, о котором я уже упоминала, пели и молились. Сброшенная бомба попала как раз в этот костел. Все они погибли. Нас же только засыпало землей, гораздо глубже, чем мы сами своими слабыми силами могли обезопасить свое жалкое укрытие. Надо полагать, с чьей-то помощью снаружи мы выбрались из этой щели и в тот же день ушли всем семейством из города. Дом пана Леона, в котором мы до того жили, тоже оказался разрушенным. Бомбежка города могла повториться. Вплоть до нашего освобождения в самом начале 1945 г. мы так и скитались по окрестным деревням.

Лично для меня эта ночь оказалась самой драматичной: то ли в силу естественного течения болезни (впоследствии у меня был диагностирован костный туберкулез левого голеностопного сустава), то ли в результате полученной травмы, моя нога, на боли в которой я жаловалась, оказалась распухшей до самого колена, как бревно. К счастью, где-то по дороге наших странствий нашлись два врача – женщина-полячка и немец-хирург, – которые в полевых условиях (в буквальном смысле, потому что посреди поля, на каком-то обеденном

столе, вынесенном из дома, без какой бы то ни было анестезии, при минимальном наличии инструментов), сделали мне операцию, которая спасла меня от гангрены, но оставила меня на всю жизнь инвалидом. Вскоре после операции сначала я, а потом и близнецы заболели – сначала корью, а потом коклюшем. Поэтому-то это время нашей жизни я, за исключением каких-то отдельных, и то – смутных – моментов, совсем не помню. Поэтому же, наверно, я так быстро забыла польский язык, о чем до сих пор жалею. Однако помню хорошо, что фронт все лето и всю осень стоял в этих местах: каждую ночь над нами пролетали с востока на запад, а потом с запада на восток самолеты. Иногда усиливалась и артиллерийская канонада.

К счастью, я и близнецы выздоровели от кори и коклюша как раз ко времени нашего освобождения.

День освобождения я помню очень хорошо, хотя, где мы в это время были – в какой деревушке или каком городишке (но точно не в Августове) – этого я не знаю. Помню, что все мы толпились у окна, а по улице шли наши солдаты. Происходило это все в самом начале января. Мама выбежала на улицу и обняла какую-то румяную, миловидную девушку в белом маскхалате. Увы! – нам суждено было увидеть, как через какое-то время эта же девушка подорвалась на mine: очевидно, немцы загодя подготовились к своему неизбежному отступлению из этого населенного пункта.

Тут же мы все засобирались домой, т.е. в родную Белоруссию, не дожидаясь даже официальной репатриации. Как это все организовывалось, я не помню, да и не могла я это знать тогда, по своему малолетству. Наверное, нас подвозили на санных упряжках (вот это я помню) какие-то крестьяне. Скорее всего, это могли быть русские староверы из староверского села Габовы Гронды, с которыми мы за время войны познакомились и подружились. Очевидно, они на этой польской земле поселились еще до 1917 г. По рассказам мамы и бабушки я знаю, что знакомство с ними началось с маминой и Клавиной работы у них. Они относились к нам поначалу настороженно: по их представлениям, мы были «поганые», потому что, во-первых, «кацапы» (поляки тоже нас так называли), во-вторых, безбожники. Потом, постепенно, это предубеждение было преодолено: они поняли, что мы их товарищи по нашему общему несчастью, и они, как и другие крестьяне-поляки, помогли нам не умереть с голоду.

Итак, мы добрались до города Гродно, где некоторое время нас продержали в каком-то контрольно-пропускном пункте, потом выдали нам какие-то документы, разрешавшие нам дальнейший проезд к родному маминому городу Витебску. Это передвижение по вконец разрушенной, выгоревшей, разоренной белорусской земле навсегда осталось в моей детской памяти. Нормального пассажирского железнодорожного сообщения тогда еще, наверное, не было. Мы, во всяком случае, ехали в товарных вагонах, если нам удавалось попасть в них. Принимая во внимание, что у моей бабушки и мамы (с Зуевыми мы после Гродно расстались, Клава со своими девочками-близнецами сама пробиралась в свою родную Пензу, девчонки Аня и Тамара были «угнаны» в Германию) на руках была я, обезноженная шестилетка, брать штурмом проходящие составы было далеко не просто. Помню, как какой-то кусок пути мы ехали в товарном вагоне, до потолка набитом разбитой военной техникой, которую, наверно, перевозили в тыл как вторсырье. Помню, как в Полоцке мы ночевали на улице на привокзальной площади, потому что здания вокзала вообще не было как такового.

Не было и города Витебска, откуда родом были мой дедушка и моя мама. Мне не случилось побывать в этом городе после войны, поэтому в моей памяти он сохранился таким, каким я увидела его тогда, весной 1945 г.: сплошные развалины; деревянные дома сгорели; каменных не разрушенных осталось хорошо, если несколько десятков на весь город; по улицам нельзя не только проехать, но даже и просто пройти, потому что они перегорожены грудями кирпича – тем, что осталось от когда-то стоявших там домов.

В одном из чудом сохранившихся домов мы какое-то время, очень короткое, прожили вместе с другими выжившими и вернувшимися – кто откуда.

Вскоре маме предложили работу – опять в детском доме, правда, не в качестве воспитателя, а в качестве бухгалтера. Такого образования у нее не было, но это было время, когда выжившие в этой войне люди вынуждены были начинать новую жизнь буквально с нового листа, в том числе и осваивать новые профессии. Я уже говорила, что мама была очень способным человеком. Как во время войны она научилась копать землю, сажать и выкапывать картошку, доить коров, запрягать лошадей, так и сейчас она освоила эту новую профессию, и настолько

хорошо, что и в будущем ей приходилось работать в этом качестве.

Детский дом, в котором она стала работать, был по-своему интересным учреждением, тоже своеобразным продуктом войны. Расположен он был не в городе Витебске, а в районе станции Езерище, в лесу, в щитовых, так называемых «финских» домиках, где на исходе войны помещался штаб генерала И.Х.Баграмяна. Мы там прожили целый год – с весны 1945 до весны 1946 года. Летом в лесу было очень хорошо – красиво, много цветов, ягод и грибов, но ходить за ними надо было с большой осторожностью, потому что в лесу было огромное количество волков и мин. Зимой было труднее, потому что эти «финские» домики не были рассчитаны на наши зимы. К счастью, леса там было немеряно, и все женское (а мужчин я там не помню – война же только что прошла) и более взрослое детское население занималось лесоповалом – для обеспечения опять-таки выживания.

Из впечатлений этого времени самые тяжелые – это судьбы этих детей. Это были круглые сироты. Как правило, отцы погибли на фронте или в партизанах; матери – или волки съели, или подорвались на mine.

Как бы то ни было, у нас было постоянное место жительства, был почтовый адрес, куда стали приходить известия о потерянных нами близких. Пришло сообщение о гибели папы, о том, что бабушка и моя старшая тетя Нина, которая к началу войны жила в Москве, воевали, о том, что погибла старшая бабушкина сестра Оля, о других родственниках. Очень серьезно встал вопрос о лечении моей ноги, в которой туберкулезный процесс продолжал развиваться.

К счастью, мы узнали, что в Ригу после войны переехали бабушкины родственники из разветвленного клана Стэнке, которые и нас позвали туда же.

Итак, в конце августа 1946 г. мама, бабушка и я приехали в Ригу. Несколькими месяцами позднее к нам присоединился и мой дедушка, который поначалу устроился на работу и проживание в небольшом, но очень красивом городе Цесис. Мама стала работать в детском санатории на Рижском взморье, который по аналогии с всесоюзной детской здравницей в Крыму называли «Артеком» – опять бухгалтером.

С того времени и до сих пор, с несколькими кратковременными перерывами, я и живу в Риге, и очень люблю этот город. Причем любовь была с первого взгляда.

Наши родственники, которые уступили нам одну из занимаемых ими комнат в коммунальной квартире, жили в центре, в доме на ул. Кришьяна Валдемара. В этот дом упиралась перпендикулярно к ней расположенная ул.Лачплесиса. Квартира наша была на шестом этаже, и из окна нашей комнаты открывался великолепный вид на эту улицу, которую справедливо считают одной из красивейших в Риге. В доме, естественно, был лифт, но в то время он не работал. Так что каждый день мне приходилось подниматься на шестой этаж и спускаться с шестого этажа, поскольку я начала ходить в школу. С моей больной ногой это было нелегко. Школа была расположена на ул.Стрелниеку. Ходила я туда пешком, и чтобы попасть туда, надо было пройти из конца в конец ул.Алберта. Она совсем не длинная, всего в каких-нибудь 5-6 домов с каждой стороны, но зато кроме двух домов, все остальные были построены Михаилом Эйзенштейном, о чем я узнала, конечно, значительно позднее. Но уже тогда эти дома, первые в Риге образцы югендстиля (тогда я тоже не имела об этом понятия), меня так поразили, что дорога в школу и из школы отнимала у меня ужасно много времени, потому что невозможно было не глазеть по сторонам среди такой красоты.

Проучилась я в этой первой в моей жизни школе всего только две четверти, потому что в самом начале января 1947 г. меня определили в детский костно-туберкулезный санаторий, только что открытый примерно километрах в 30 от Риги, в маленьком курортном городке Огре. Прожила я в этом санатории безвыездно до февраля 1949 г., т.е. немногим больше двух лет. В те времена лечили костный туберкулез только покоем (т.е. больные суставы держали в гипсовых повязках), рыбьим жиром и хлористым кальцием.

Я была самой первой и какое-то время единственной пациенткой этого санатория. Примерно недели через две появился второй пациент, пятилетний мальчик Янитис. Он и стал моим первым учителем латышского языка.

Постепенно санаторий наполнялся больными детьми. Всего их собралось примерно до 50 человек. Из них только человек пять (вместе со мной) было русских, остальные были латышские дети со всех концов Латвии. Среди них была одна девочка латышка, года на два старше меня, которая хорошо говорила и умела читать по-русски. Я, конечно, с ней подружилась. Благодаря ей и остальным

моим товарищам по несчастью, я очень хорошо, бегло и почти без акцента научилась говорить по-латышски, что мне, в дальнейшем, значительно облегчило жизнь в Латвии. За латышский язык я главным образом и благодарна этому санаторию. Нет, справедливости ради надо признать, что кормили нас там тоже хорошо – а это были самые голодные годы в Советском Союзе. И вообще врачи, сестры, нянечки к нам относились очень хорошо, конечно, ругали нас за нарушение постельного режима, но не могу вспомнить ни одного случая каких бы то ни было несправедливых придирок или чего-нибудь подобного тому, что теперь называют неуставными отношениями.

Весной 1947 г. в санаторий стали приходить учителя, латышские для латышских детей, русские для русских. Я там окончила второй и до середины – третий класс. И конечно я там очень много читала, притом читала почти как гоголевский Петрушка – все, что попадалось под руку, начиная от «Мухи-Цокотухи» и кончая «Анной Карениной».

Что касается лечения, то результаты его были очень скромными. Я уже писала здесь, какова была методика лечения туберкулеза в те времена, когда еще не были изобретены антибиотики. В санатории все, что тогда могли сделать, мне сделали, т.е. течение процесса туберкулезного мне приостановили. Года два я носила на больной ноге так называемый аппарат Томсона, который уменьшал нагрузку на мою больную стопу. Так я проходила в школу года два, пока один раз, расшалившись со своей любимой подружкой, не упала. В результате полученной травмы процесс у меня возобновился. Меня отвезли на «Скорой помощи» в Институт травматологии и ортопедии. Это медицинское учреждение в течение многих лет пользовалось очень хорошей репутацией во всем Советском Союзе. К сожалению, меня там по до сих пор мною не понятой причине начали лечить не от туберкулеза, а от остеомиелита, т.е. делали все, что при моем первоначальном диагнозе было категорически противопоказано. Помню, как ко мне водили студентов мединститута, показывали мою ногу и говорили, что на этом суставе остеомиелит не бывает, а бывает костный туберкулез, но вот у этой девочки – именно остеомиелит. В результате я почти каждый год месяцами лежала в разных рижских больницах, где мне назначали разные тепловые процедуры. Два раза меня посылали в знаменитые бальнеолечебницы – в Друскенинку (в Литве) и в Евпаторию. Состояние мое становилось все хуже и хуже.

К тому же там же, в Институте травматологии, мне сделали одну не очень серьезную операцию очень неудачно, в результате чего моей бедной стопе придали дополнительную деформацию, которая до сих пор делает хождение для меня очень болезненным.

Впрочем, эта, для меня лично печальная история, только косвенно связана с первоначальной темой моего повествования – с тем, как война своим огнем опалила жизнь нашей семьи, как и множество других жизней в нашей стране.

Настало время рассказать о родных моего погибшего отца. Он был родом из небольшого городка Курмыш Горьковской области. По рассказам взрослых я знаю, что уже из Августова папа повез свою молодую жену знакомиться со своими родителями. Его отец работал в школе – если я правильно поняла рассказанное мне, – директором. С ним мне встретиться не пришлось: он умер до того, как мне удалось впервые познакомиться с семьей моего папы, что произошло значительно позднее.

По рассказам мамы, ее приняли очень хорошо. Семья была немаленькая: у папы было два брата и сестренка. Брат Анатолий, как и папа, воевал, был ранен и контужен и уже после войны умер от случайной травмы, которая оказалась для него смертельной из-за контузии. Брат Стасик был лет на семь, а сестренка Риточка – вообще всего на четыре года старше меня, своей племянницы.

Не знаю точно, когда и почему им пришлось переехать из Курмыша в Свердловск – там-то я впервые их навестила в 1967 г. Моя вторая бабушка, папина мама, была лет на 10-12 старше моей бабушки с маминой стороны. Она запомнилась мне как маленькая, сухонькая, очень заботливая, любящая и хлопотливая. Тетя Рита, которую я никогда тетей не называла, по причине ее молодости, уже была замужем за Геннадием Гуриным, работавшим на Уралмаше. У них была дочка Леночка, в то время лет семи, по сути моя двоюродная сестра, но меня уже и тогда, 28-летнюю женщину, и до сих пор Леночка называет тетей. Жили они четвером в крохотной двухкомнатной квартирке. Только лет через 10, по многочисленным ходатайствам с их стороны (я тоже в один из своих визитов к ним ходила на прием к военкому и обращала внимание на то, в каких условиях жила семья двух погибших участников Великой Отечественной войны) им дали трехкомнатную квартиру. К сожалению, бабушке недолго пришлось

наслаждаться этим скромным комфортом: вскоре после этого она умерла. Папин брат Станислав, когда я познакомилась с ним, жил в г. Кирове, был женат, вместе с женой Тамарой работал на железной дороге. Сейчас только они и Леночка остались в живых от этой когда-то большой, дружной и любящей друг друга семьи. У Стасика с Тамарой детей нет. Леночка тоже не замужняя и бездетная. Осталась последняя Карбанова – это я. Выйдя замуж, я намеренно не поменяла фамилию. Но что толку – детей у меня тоже нет.

Это обстоятельство увеличивает чувство моей вины перед памятью отца. Строго говоря, никаких конкретных прегрешений в этом отношении я за собой не знаю. В то недолгое время, когда мы все вместе жили в Августове, его очень любила моя бабушка. Она мне, кстати, очень много о нем рассказывала – о том, что он очень любил маму; о том, что он очень хорошо относился ко всей своей новой, благоприобретенной родне; о том, что он был воспитанным, терпимым, добрым человеком; о том, что у него было чувство юмора; о том, что и к нему люди относились с любовью и уважением, несмотря на его крайнюю молодость.

До сих пор у меня вызывает огорчение и чувство вины то обстоятельство, что я слишком поздно установила контакты с другими Карбановыми. Переписка с ними восстановилась сразу после окончания войны. Узнав о моей болезни, они долго присылали мне какое-то по народным рецептам изготовленное лекарство. Насколько я помню, в состав его входили какие-то безусловно полезные вещи – мед, сок ягод калины и какие-то еще ценные компоненты. Я думаю, что туберкулезный процесс они не могли остановить, но в целом это, вне всякого сомнения, поддерживало мои слабые физические силы в очень тяжелые для всех времена. По причине моей болезни я не сразу смогла навестить их в Свердловске. Так что вроде бы я и не очень виновата – но все же, все же, все же...

Еще большее чувство вины у меня связано с тем, что я совсем уж поздно смогла посетить место захоронения отца, хотя об этом месте я знала давно. В детстве я не могла этого сделать опять-таки по причине долгой болезни. А когда я вылечилась и стала взрослой и самостоятельной, передо мной встала проблема в советское время для подавляющего большинства простых советских людей трудно или вовсе неразрешимая – где остановиться на ночь? И только

совсем недавно, когда моя сводная сестра Людмила со своей семьей осела на постоянное место жительства в Рязани, появилась реальная возможность съездить из Рязани в Тульскую область.

Здесь, может быть, уместно ввести в мое повествование новые действующие лица. В 1947 г. моя мама второй раз вышла замуж, и опять за кадрового военного, Комбецова Александра Кузьмича, 1915 г.рождения, во время войны воевавшего на Ленинградском фронте. Так появились на свет мои сводные – и очень любимые – две сестры (Оля в 1948 г. и Людмила в 1955 г.) и брат Сережа (в 1958 г.). Больше 10 лет мама со своей новой семьей разъезжала по территории всего Советского Союза – из Эстонии в Киргизию, оттуда в Литву и Калининградскую область. Когда отчим вышел в отставку, они обосновались в Риге. Вдвоем с мамой они больше 20 лет проработали на Рижском радиозаводе им.Попова. Дети пооканчивали школу, получили образование. Девочки повыходили замуж – и тоже за военных – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Последним местом службы Людомилиного мужа, перед выходом в отставку, стала как раз Рязань.

На волне празднования очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне сестра Людмила сначала заглянула в интернет на сайт

Memorial.ru, а потом написала письмо в газету «Заря» Чернского района Тульской области с просьбой о помощи в установлении контакта с каким-нибудь конкретным лицом, кто мог бы помочь разыскать могилу отца. Редактор этой газеты А.В.Маркин вывел нас на совершенно замечательного человека – Вячеслава Николаевича Сорокина.

Это школьный учитель, поисковик, исследователь, руководитель военно-исторического отряда «Чернский узел обороны». Когда мы его встретили, он рассказал нам, что в свои студенческие годы он ездил во время летних каникул на целину в Казахстан. Там познакомился с одним казахом, который, узнав, что этот молодой человек из пос. Чернь Тульской области, рассказал, что сам он воевал в этих местах, которые в течение полутора лет были прифронтовыми. С того времени Вячеслав Николаевич и стал заниматься краеведением и историей Великой Отечественной войны и приобщил к этой благородной работе и своих коллег-учителей и учеников.

Когда летом 2008 г. мы с моей сестрой из Рязани поехали в пос. Чернь, меня поразило обилие увиденных нами по дороге уже в Тульской области братских могил. Это было красноречивым свидетельством и ожесточенности боев в этих местах в 1941-42 гг., и бережного отношения местного населения к этой героической и трагической памяти. За что им сердечное спасибо и низкий поклон.

В официальном извещении о гибели моего отца, которое мы получили еще летом 1945 г., сообщалось, что он умер от ран и был похоронен в деревне Сидорово Чернского р-на Тульской области. Вячеслав Николаевич Сорокин сообщил нам, что в Сидорово в 1942 г. боевые действия не велись. Целый ряд населенных пунктов Чернского района – деревни Сидорово, Бунаково, Подберезово, Плотичино – были расположены на расстоянии 15-22 км от передовой. Но там всюду располагались полевые госпитали и медсанбаты. Старожилы этих мест (Н.Д.Бобилев, Н.Г.Алфимова), по свидетельству Вячеслава Николаевича, помнят место захоронения воинов Красной Армии в Сидорово. Но в 60-е – 70-е годы прошлого века прах воинов был перенесен в более крупную братскую могилу в деревню Подберезово, расположенную как раз напротив Сидорово. Как установил Вячеслав Николаевич, по официальным документам в братской могиле № 20 в Подберезово захоронены 100 солдат и офицеров, скончавшихся от ран в госпитале. Из них известны фамилии 76 человек. К сожалению, фамилии «Карбанов Ю.П.» там нет. Остается надеяться, что он есть среди не названных.

Уже в наше время сын одного из захороненных в этой братской могиле воинов Еничев А.Ф., бизнесмен из Вологды (если я правильно помню), поставил на могиле памятную плиту с перечислением всех известных имен. Мы же, исходя из предположения, что и Карбанов Ю.П. может там лежать, установили рядом с могилой памятную доску. Перенесенная братская могила сейчас расположена на территории сельского кладбища, где до наших дней хоронят жителей окрестных деревень. Кладбище расположено на небольшой возвышенности, в окружении маленькой рощи. Место очень красивое, созвучное вечному покою и памяти. За память – еще раз сердечное спасибо Вячеславу Николаевичу Сорокину, его коллеге Лидии Петровне, его ученикам и всем добрым людям этой земли.

II

Министерство иностранных дел Латвийской ССР

Историко-филологический факультет Латвийского государственного университета, на который я поступила осенью 1955-го года, я окончила весной 1960-го года.

По существовавшим тогда в Советском Союзе правилам, студенты, получавшие высшее образование бесплатно, обязаны были, по окончании вуза, отработать три года в том месте, куда их (выпускников) направляли по так называемому **распределению**. Выглядело это так: поскольку наш факультет готовил учителей средней школы, примерно за полгода до начала нового учебного года соответствующие отделы народного образования присылали запросы в Министерство просвещения республики на вакантные места учителей. Выпускников знакомили с этими запросами, они делали свой выбор и подписывали свое согласие (вернее, свое обязательство) проработать в этом избранном месте не меньше трех лет, а дальше, после выполнения своего «гражданского долга», – как сложится жизнь. Между прочим, на нашем факультете, где подавляющее большинство учащихся были женщины, дальнейшая судьба выпускниц складывалась традиционно – они выходили замуж. Причем на нашем отделении филологического факультета – отделении русского языка – девочки выходили замуж за офицеров Советской Армии или за выпускников военных училищ, которых в послевоенные годы в Латвии было несколько.

Я шла на так называемый **красный диплом**, поэтому мне было предоставлено право первой из нашей академической группы сделать свой выбор. Я, естественно, выбрала лучшее место – не в какой-нибудь богом забытой сельской школе, а в средней школе города Валмиеры. Через несколько дней после распределения ко мне подошла девочка из параллельной группы и предложила мне поменяться с нею местами. Дело в том, что она уже была замужем за советским офицером, который служил как раз в городе Валмиере, а мне она вместо этого, моего вожаденного места, предложила свою, гораздо более заманчивую перспективу – место в Риге. Правда, не совсем по профилю, не по полученной нами профессии, но в Р и г е !!!

Я уже говорила, что с детства у меня были серьезные проблемы со здоровьем, и во время учебы в университете я один месяц на втором и

по четыре месяца на третьем и четвертом курсах провела в больницах, поэтому к самостоятельной жизни вдали от любящих и заботливых мамы, бабушки и тети я совсем не была готова, и боялась ее, этой неизвестной, но уж определенно неустроенной, жизни. Поэтому я с радостью согласилась на этот обмен. Все было оформлено по согласованию со всеми официальными и заинтересованными организациями.

Так я стала работать в Министерстве иностранных дел Латвийской ССР, и проработала там с мая 1960 г. по август 1962 г., в должности секретаря-референта, с зарплатой в 80 рублей. Примерно через несколько месяцев после поступления на эту работу, сдав экзамен по английскому языку, получила надбавку в 8 рублей, за знание иностранного языка, что для Министерства иностранных дел (т.е. требование знания иностранного языка) было совершенно естественно. Кроме этого, новая, пока еще совершенно не знакомая мне профессия – секретаря-референта – требовала от меня еще, по крайней мере, два навыка – знания латышского языка (МИД же был Латвийской ССР) и умения печатать на машинке. Латышским разговорным языком я владела с детства. Правда, мой латышский язык был не очень богат и не очень литературно выразителен, но, как выяснилось впоследствии, вполне удовлетворителен для устного общения с коллегами и посетителями нашего учреждения. А что касается пишущей машинки, то это умение я освоила благодаря тому, что одна из моих тетюшек работала машинисткой в штабе ПрибВО, и я, написав от руки свою первую курсовую работу и поняв, насколько это утомительно и непродуктивно, постаралась, под руководством моей тети Нины, освоить умение писать на машинке – правда, не вслепую и не очень быстро. Все свои последующие курсовые и дипломную работу, другие околонуточные материалы я писала на машинке. Поэтому на вопросы тогдашнего министра иностранных дел Латвийской ССР, товарища Волдемара Кришевича Калпиньша, который, прежде чем принять меня на работу, поинтересовался относительно одного и другого умения у меня, я нахально (как я это расцениваю сейчас) отвечала «Да! Умею».

Вообще, как я это сознаю сейчас, в очень многих отношениях я, подобно Ивану Бездомному, была человеком девственным. Работа в министерстве обогатила меня знанием многих фактов и деталей. К

сожалению, тогда я еще не была в состоянии полноценно осознать их содержательный смысл.

Необходимость взять нового работника на должность секретаря-референта была связана с тем, что прежняя секретарь-машинистка (именно такова была сущность этой работы), Ольга Васильевна, уходила на **заслуженный отдых** (так это тогда формулировалось), т.е. на пенсию. Передача дел произошла очень быстро, потому что, как я поняла и усвоила после своего первого месяца в министерстве, работы как таковой там было на один восьмичасовой рабочий день в месяц. Остальное время я должна была сидеть **в присутствии** (как такого рода деятельность называли в XIX веке) на случай обращения в Министерство иностранных дел простых советских граждан. Никакими иностранными делами союзные республики, естественно, не занимались. Все эти дела делались в Москве. Поэтому и должность министров иностранных дел в союзных республиках была чисто номинальной, и все они занимали ее по совместительству. Например, наш (т.е. Латвийский) министр иностранных дел в поте лица своего работал как министр культуры, и, как я понимаю теперь, в этой области много разумного, доброго, вечного для своего народа сделал. Его деятельность в области культуры была связана, главным образом, с его активным сопротивлением процессам сплошной русификации, за что он был снят с должностей как министра культуры, так и министра иностранных дел.

Что касается меня, маленькой наивной дурочки, то я очень много выиграла от того обстоятельства, что наш МИД помещался в здании Министерства культуры, по тогдашнему адресу – ул. Леона Паэглес, 2 (теперь – Антонияс, 2). В этом большом, красивом здании в стиле эклектики, в котором до 1940 года помещалось Посольство СССР (а теперь помещается Посольство Российской Федерации), наша контора занимала три маленькие комнатки на третьем этаже. В первой, проходной, комнатке сидел секретарь-референт, т.е. я. Через мою комнату проходили в кабинет помощника министра. За моей комнатой, дальше по коридору, был кабинет эксперта-консультанта. Итого, вместе с министром – четыре человека.

Был еще один работник – очень хорошенькая девочка, на два года моложе меня, у которой не было служебного помещения в нашем здании: она работала на почте, и, как она один раз мне призналась,

занималась грязной работой. В чем заключалась эта грязная работа и почему она была грязная, я, как настоящая советская девушка, не интересовалась. Тем более, что при приеме на эту работу с меня была взята подписка о неразглашении всего, чем мы все там занимались. Однако я достаточно скоро догадалась, что, очевидно, она занималась перлюстрацией частной переписки граждан нашей республики с живущими за рубежом родственниками или знакомыми.

Что касается строгой секретности нашей работы, то она относилась не к тому, что мы делали, а к тому, кто на самом деле это делал.

Но сначала о преимуществах работы в здании Министерства культуры.

Каждую неделю в актовом зале министерства нам показывали новые фильмы – к сожалению, только те, которые выходили на всесоюзные экраны, а не те, которые демонстрировались для избранной (т.е. **номенклатурной**) публики на закрытых показах. Но все равно, для меня получался облегченный доступ к искусству кино.

В обязанности Министерства культуры входило следить за работой рижских театров: на каких-то спектаклях должен был присутствовать представитель министерства. Иногда не находилось такого человека, и бесплатный билет на очень хорошее место доставался мне – не как работнику, а как члену комсомольской организации этого учреждения. Кроме того, крутятся шесть дней в неделю (тогда у нас была шестидневная рабочая неделя) в здании министерства, то и дело случалось встретить вживую какого-нибудь артиста, художника, музыканта: рождалась иллюзия, что ты тоже имеешь какое-то отношение к культуре – чем не радость?

Что касается непосредственной работы по линии иностранных дел, то ею, как я уже сказала, занимались в Москве. На нашу долю оставалось только разъяснение рядовым жителям нашей страны, почему принималось то или другое решение по их проблемам.

В годы так называемой оттепели очень активизировались просьбы этих людей разрешить им выехать за границу к родственникам, которые оказались там после II мировой войны.

Строго говоря, по существовавшим в Советском Союзе законам в то время ответы гражданам на эти просьбы (ответы, а не решения) давались в Министерстве внутренних, а не иностранных дел, в так называемом ОВИР'е. Само слово «ОВИР» расшифровывается как

«Отдел виз и регистрации». Думается, что не все работники ОВИР'а в то время хорошо говорили по-латышски, потому что часто пожилые латышские бабушки, которым отказывали в возможности повидаться с их детьми или внуками, жившими в Англии или Америке, приходили к нам, в МИД Латвийской ССР. И именно мне приходилось им разъяснять разделение функций между ОВИР'ом и МИД'ом, на что они, как правило, мне говорили: «Bet, bērniņ, tur ar mums neviens negrib runāt!» («Но, деточка, там с нами никто не хочет разговаривать!»)

В наши же, т.е. Министерства иностранных дел, задачи входило заниматься делами тех людей, которые хотели бы приехать на всю жизнь или просто на экскурсию или в гости к родственникам или друзьям в нашу страну из-за рубежа. Через посольства СССР в разных странах, куда обращались заинтересованные лица, к нам, т.е. в МИД Латвийской ССР, поступали соответствующие заявления.

И вот здесь-то начинала работать я, секретарь-референт. Сначала я регистрировала все поступающие к нам бумаги. Потом я переписывала на машинке и заявления, и все другие документы, приложенные к этим заявлениям. Иногда приходилось и что-нибудь переводить с латышского на русский язык.

Один раз в месяц к нам приходил товарищ в военной форме, с пистолетом на поясе и с большим брезентовым саквояжем, куда он складывал эти, предварительно нами обработанные и скопившиеся за месяц у нас бумаги и уносил их в свое ведомство, т.е. в дом на углу улиц Ленина и Энгельса (теперь эти улицы называются Бривибас и Стабу) – в наше, латвийское отделение КГБ СССР. Оттуда же нам приносили и ответы на запросы рядовых граждан. Насколько я помню, положительные ответы были крайне редкими. Как правило, это были запреты, всегда формулируемые однотипно: «Сообщаем, что компетентные органы власти находят нецелесообразным...».

Из многочисленных подобных дел у меня в памяти сохранилось одно. Понравившийся мне по прочитанному незадолго до того роману «Россия молодая» писатель Юрий Герман очень настоятельно и живописно приглашал приехать к нему в гости своего двоюродного брата, жившего где-то во Франции. Сам Юрий Герман в то время жил в Ленинграде и своего кузена он приглашал также к себе, в Ленинград. Почему это шло через Ригу? «Компетентные органы власти» находились в Москве, на Лубянке, но оба кузена родились и жили до

революции в Риге. Мне было жаль, что «компетентные органы» нашли встречу этих родственников нецелесообразной.

Вообще же отношение «компетентных органов» к рядовым гражданам нашей страны было скорее суровым, чем сентиментальным, о чем красноречиво свидетельствует пародийная обработка хрестоматийного стихотворения Некрасова о его Музе: «Вчерашний день, часу в шестом зашел на площадь Мира. Там били женщину кнутом работники ОВИР'а. Ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя. И Музе я сказал: «Гляди – невыеззная!».

В моих непосредственных контактах с рядовыми нашими гражданами довольно часто случались трагикомические эпизоды, или, скорее, проявления черного юмора нашей повседневной жизни.

Помню, однажды в мою приемную ввалилась целая толпа плохо одетых женщин. У некоторых из них на руках были маленькие дети. Они начали требовать у меня, чтобы я сказала им, куда им обратиться, чтобы их выпустили из этой страны, потому что они живут в чудовищных условиях и никто не собирается решать их жилищные проблемы. Между прочим, относительно квартирного вопроса у меня у самой в то время был очень печальный опыт: наша семья из 10 человек жила в двух комнатах-кухнях, в полуподвальном помещении, с полным отсутствием каких-либо удобств (вплоть до туалета). И так же, как у моих посетителей, никаких реальных перспектив на улучшение нашего положения у нас не было. Поэтому я отнеслась к этому эпизоду вполне сострадательно. Когда я спросила у своего прямого начальника, эксперта-консультанта, как мне выходить из подобных ситуаций, он мне дал очень «дельный» совет: надо объяснять в подобных ситуациях рядовым гражданам, что такое их поведение, т.е. когда они хотят вынести свои жалобы на нашу родную советскую жизнь куда-то за ее пределы, куда-то за границу, – такое поведение **непатриотично**.

Еще одна сторона деятельности нашего министерства была связана с легализацией документов, выданных когда-то для наших граждан за границей. Как правило, это были документы об образовании, полученные гражданами Латвии до войны. Иногда Инюрколлегия искала кого-нибудь из наших граждан по поводу зарубежного наследства.

В любом случае понятно, что чрезмерной работой я не была перегружена. Мое беспокойство по этому поводу мои два начальника

все время успокаивали, советуя мне расширять свой кругозор, заниматься самообразованием и тому подобными вещами.

С одним явлением из истории нашей страны мне действительно удалось познакомиться за время работы в министерстве. В моем кабинете был книжный шкаф, на полках которого стояла «Большая Советская Энциклопедия» издания 30-х годов. В каждом томе этого издания я обнаружила довольно большое количество страниц с заклеенными статьями. Так я воочию увидела результаты работы **нашего**, отечественного **Министерства правды** – института, так выразительно изображенного в романе Оруэлла «**1984**». Впрочем, с этой книгой я сама познакомилась значительно позднее, лет через десять. Зато мой мидовский опыт впоследствии помог мне освободиться от многих иллюзий относительно жизни в **нашей юной прекрасной стране**.



Янис Сирмбардис. Рига, 2000-е гг.

УШЕЛ ПОЭТ...

Янис Сирмбардис родился в разгар зимы, когда наш мир, кажется, менее всего приспособлен встретить и обласкать хрупкого младенца, – 13 января 1937 года. А ушел в праздник Лиго, 23 июня 2015 года. Это был его праздник, день летнего солнцестояния, канун именин Яниса. Наверно, самый его радостный и веселый день в году на протяжении всей жизни.

Первая публикация – в 1957 году в газете „Padomju Students”; первый сборник стихотворений „Asnu zobeni” вышел в 1962 году, последний, – „Neaizmirstulīšu pļāvējs” – в 2002. А последняя прижизненная публикация была в 5-й книге «Рижского альманаха» в переводе Фаины Осиной в самом конце 2014 г.

Он был поэт и виртуозный мастер поэтического перевода. Среди переведенных им авторов – Б. Пастернак и О. Мандельштам, М. Бажан и Дм. Павлычко...

Полвека Я. Сирмбардис посвятил работе над книгами латышских поэтов в издательстве «Лиесма». Редактировал и не дрогнувшей рукой ставил свою подпись в книгах самых «сомнительных» авторов.

(Редакция)

Тост

*Янису Сирмбардису, вступающему
на путь мемуариста*

На стол вино воспоминаний!
Легко увяжутся концы с концами.
Вино воспоминаний, друг мой,
гораздо слаще, чем забвенья пиво.

Пускай стрижем воспоминаний
не высидеть птенцов, затеем ныне
застолье памяти и жизни,
беспамятство согонится на похмелье.
Да будет на пиру одно желанье:
кем были, – быть, а не казаться.

В воспоминаньях сотни встреч бывают,
одно забвение грозит исчезновеньем.

Пер. И.Ц.

2013



ПАМЯТИ СОВРЕМЕННОКА (Иван Яхимович)

Год назад, 5 августа 2014 г., в Даугавпилсе на 84 году жизни скончался Иван Антонович Яхимович – активный участник общественного движения в СССР конца 1960-х годов.

От имени друзей и единомышленников И.Яхимовича выражаем соболезнование его жене и другу – Ирине Сергеевне Чижовой, их четверем дочерям – Ирине, Татьяне, Виктории, Инне.

Похоронили Ивана Антоновича в Даугавпилсе, на католическом кладбище.

Мир праху его...

Иван (Ян, Янис) Яхимович родился 3 января 1931 г. в Даугавпилсе в многодетной (десять детей) польской рабочей семье. Один из его братьев во время войны был призван в Латышский легион, подвергался преследованиям. Другой брат, старший, погиб под Москвой, посмертно был награжден орденом «Красной звезды».

Большая часть жизни И.Яхимовича была посвящена городу и миру.

Его общественный темперамент дал знать о себе еще в школе, активизировался в десятилетней комсомольской работе, проявился и в студенческие годы (1951-1956) на историко-филологическом

факультете Латвийского университета, на целине, в одной из школ Дагдского района (Латгалия), где он работал учителем русского языка и литературы, а затем инспектором отдела народного образования.

Вступив в Коммунистическую партию в 1961 г., И.Яхимович стремился на практике реализовать свои идеалы в области экономики, права, культуры, свободы, равенства и братства. Движение на этом пути увлекло его в председатели коллективного хозяйства «Jaunā gvarde» («Молодая гвардия») с твердой уверенностью, что он сумеет вывести эту социально-экономическую ячейку в передовые. С 1960 по 1968 год И.Яхимович добивался этого, казалось бы, очевидно достижимого результата. Успехи на пути экономического подъема отдельно взятого колхоза были, но, по мерке самого председателя колхоза, весьма незначительны и крайне медленны. В 1963 г., решив, что для скорейшего осуществления поставленной цели ему недостает знаний, И.Яхимович поступает на заочное отделение Елгавской сельскохозяйственной академии. Отметим, чуть забегаая вперед, что так наз. колхозники ценили своего председателя, о чем говорили и на суде над И.Яхимовичем. Впечатление на них должен был произвести и начальный оклад жалованья (30 руб. – в районе студенческой стипендии), положенный им самому себе по давно уже отмененным законам партмаксимума.

Политический темперамент и коммунистические убеждения заставляли И.Яхимовича штудировать труды классиков марксизма-ленинизма, что в итоге привело его к некоторым сомнениям относительно верности пути, по которому вела страну Коммунистическая партия Советского Союза. Параллельно шли поиски единомышленников, способных бороться за «возврат к ленинским нормам партийной жизни» – XX и XXII съезды КПСС стимулировали эти поиски. Человек незыблемых убеждений, он готов был всегда и всюду открыто отстаивать свою точку зрения по разным поводам, что в середине 1963 г. привело к его изгнанию из коммунистических рядов. Борьба И.Яхимовича за отмену несправедливого приговора завершилась его победой – решением Президиума ЦК КП Латвии он был восстановлен в партии, ему всего лишь был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку, а 4 октября 1967 г. он был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской ССР «За достигнутые успехи в разви-

тии сельскохозяйственного производства». Эта победа над косностью и демагогией, надо полагать, еще в большей мере заставила его поверить в себя, в свою правоту, в свое предназначение, отчасти даже – в миссию, ради чего, случалось, приходилось держать семью и на полуголодном пайке. Но то, что его первые три девочки (1961, 1962, 1964 г.р.) хором могли спеть «Интернационал», должно было радовать его сердце и вполне, как нам кажется, должно было укладываться в тогдашние представления отца семейства о жизни, о борьбе, о семье.

Переломным для И.Яхимовича стал 1968 год. Вдохновленный попыткой Коммунистической партии Чехословакии перейти на рельсы строительства «социализма с человеческим лицом», воодушевленный едва слышными тогда голосами правозащитников, в начале 1968 г. он отправил в Москву, в ЦК КПСС, свое письмо с осуждением судебных процессов над диссидентами как наносящих «огромный вред... нашей партии и делу коммунизма...». Письмо заканчивалось уже анахронистическим для тех времен возгласом – «С коммунистическим приветом!», помечено было 22 января. Возможно, датировка письма связана с годовщиной (22 января) со дня смерти основателя коммунистической партии Советского союза В.И.Ленина. Непосредственный повод к письму – закончившийся на днях судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой, обвиненных в «антисоветской агитации и пропаганде». Процесс этот неожиданно послужил толчком к развитию правозащитного движения в СССР.

Вот в сокращении письмо И.Яхимовича, написанное вслед обращению москвичей Ларисы Богораз и Павла Литвинова «К мировой общественности» в связи с «процессом четырех».

ЦК КПСС от Яхимовича И.А., члена КПСС, пред. колхоза «Яуна Гварде» Краславского р-она Латв. ССР

Я не могу судить о степени виновности лиц, так или иначе подвергающихся репрессиям, ибо не располагаю достаточной информацией. Но в чем я твердо убежден и знаю – огромный вред причиняют партии и делу коммунизма в нашей стране, и не только в нашей, подобного рода процессом, какой состоялся в Московском гор. суде с 8 по 12 января с.г. <...>.

Со времени Радищева суд над писателями в глазах передовых

мыслящих людей всегда был мерзостью. Что думали наши доморощенные деятели, затыкая рот Солженицыну, придуриваясь над поэтом Вознесенским, «наказывая» каторгой Синявского и Даниэля, впуская КГБ в спектакли с внутренними врагами? <...>

Не шаркуны, не поддакивающая публика (о, господи, сколько ее развелось!), не маменькины сынки будут определять судьбу нашего будущего, а именно бунтари, как самый энергичный, мужественный и принципиальный материал молодого поколения. Глупо в них видеть противников советской власти, архиглупо гноить их в тюрьмах и издеваться над ними. Для партии такая линия равнозначна самоудушению. Горе нам, если мы не умеем договориться с этой молодежью. Она создаст, неизбежно создаст новую партию. Загляните немного в историю, и убедитесь в этом. Нельзя идеи убить пулями, ни тюрьмами, ни ссылками. Кто не понимает этого, тот не политик, не марксист. <...>

Пусть «Новый мир» снова напечатает произведения Солженицына, пусть Серебрякова издаст в СССР свой «Смерч», а Е. Гинзбург «Крутой маршрут», все равно их знают и читают, чего греха таить. Я живу в провинции, где на один электрифицированный дом – десять неэлектрифицированных, где зимой-то и автобусы не могут пробраться, где почта опаздывает на целые недели, и если информация докатилась самым широким образом до нас, то можете себе представить, что мы наделали, какие семена посеяли по стране. Имейте мужество исправить допущенные ошибки, пока не впутались в это дело рабочие и крестьяне.

Я хотел бы, чтобы это письмо не обошли молчанием, ибо дело партии не может быть частным делом, личным делом и тем более второстепенным делом. Я считаю своим долгом коммуниста предупредить ЦК своей партии и настаиваю, чтобы с содержанием этого письма были ознакомлены все члены ЦК КПСС. Письмо адресовано т. Сулову именно с этой целью.

С коммунистическим приветом

22 января 1968.

И. Я. Яхимович

Вскоре (приблизительно месяц спустя) безответное письмо с okazji ушло в Москву, но уже по другому адресу, ранним московским правозащитникам. «Получи я хоть какой-нибудь листок из ЦК, –

говорил нам как-то И.Яхимович, – я бы не пустил письмо в самиздат, во всяком случае, не так сразу»¹. В конце февраля – начале марта письмо уже читалось по «Голосу Америки» и другим зарубежным радиостанциям. Это письмо, прозвучавшее на сходе мирового внимания к «процессу четырех», получило широкий резонанс как некое свидетельство расширения социального, национального, территориального и политического спектра правозащитников – в лице председателя колхоза из Латвии, члена Коммунистической партии Советского Союза – Ивана Яхимовича. Вслед за письмом, в марте, в Москве появился и сам И. Яхимович, принятый там с вниманием, ожиданием и некоторой настороженностью... Среди новых знакомых – активные участники демократического движения 1960-1970-х гг. П.Литвинов, Л.Богораз, П.Григоренко, А.Марченко, П.Якир, В.Красин... Вот что позднее писала о И.Яхимовиче Л.Богораз:

Я узнала об Иване Яхимовиче в 1968 году, еще весной того же года познакомилась с ним. Он пришел в квартиру Павла Литвинова, где была и я. Очень хорошо помню то впечатление, какое он тогда произвел на меня: очень чистого, может быть, по-детски наивного человека; это впечатление усиливалось его внешностью: несколько аскетическое лицо с ясными глазами пронзительной голубизны. После первой встречи мы виделись еще раз. Меня поразила его история: школьный учитель, он оставил «интеллигентный» род занятий и ушел в председатели колхоза, пытаясь вытянуть его из нищеты, – дело, по моим представлениям, заведомо безнадежное (не отсюда ли ощущение детской наивности?). Но Иван Яхимович, видимо, был из тех немногих, для кого слово превращается в нравственный императив, в конкретное практическое дело. Уж коли вступил в партию, которая обещала служить народу, защищать его интересы, – вот он и служил народу, беззаветно, бескорыстно, забывая о себе, отодвигая на второй план интересы своей семьи. Это был некрасовский тип «народного заступника», правдоискатель. Наверное, по этой же причине он пришел к Павлу Литвинову (чтобы искать правду вместе?). Ивану Яхимовичу было, конечно, гораздо труднее, чем нам, москвичам. У нас ведь была компания друзей, близких по духу, помогавших друг другу. Иван Яхимович вступил в борьбу со злом один, в далеком латышском селе, где крестьяне, прав-

1. Равдин Б. Дело Яхимовича // Даугава. 1991. № 7/8. С.98.



Слева направо. И.А.Яхимович, Л.И.Богораз, П.М.Литвинов. Москва (квартира Литвиновых на Фрунзенской набережной). 1968 г. Фото М.М.Литвинова. Архив Истории инакомыслия в СССР Международного общества «Мемориал» (Москва).

да, уважительно относились к своему председателю, но вряд ли понимали и разделяли его донкихотскую идею ненасильственного противостояния.

Вскоре после своего письма, в марте 1968-го года, И.Яхимович был выведен из партии, в мае – снят с должности председателя колхоза, исключили его и из Сельскохозяйственной академии. Но все это не остановило его в «борьбе за правое дело».

Как известно, в правозащитном движении было несколько направлений, одно из них представляла неформальная группа коммунистов или бывших коммунистов; в состав этой незначительной в численном отношении фракции входил и генерал П.Григоренко, с которым И.Яхимовича связывали надежды на восстановление все тех же «ленинских норм партийной жизни». Но не только политические интересы объединяли этих людей, они ценили друг в друге и личные достоинства... Позднее Петр Григорьевич, вспоминая об этих и других днях, писал о Яхимовиче: *«Человек предельной чистоты и честности, свято веривший в светлые идеалы коммунизма, вкладывавший душу и сердце в его строительство, высказался против антидемократи-*

ческих действий властей, за это подвергся административным и партийным гонениям, затем против него создано провокационное, целиком фальсифицированное дело, которое закончилось бессудным направлением в психиатричку»².

В той же интонации говорили о Яхимовиче участник и историк правозащитного движения Л.Алексеева, адвокат на многих процессах правозащитников С.Каллистратова.

П.М.Литвинов вспоминал недавно: И.Яхимович «появился у меня в феврале 1968 года, у меня тогда не было телефона, и он меня не застал, и позвонил Ларе [Л.И.Богораз], и пришел ко мне на следующий день, и Лара тоже пришла. Мы просидели несколько часов, говорили, спорили о марксизме. <...>. Я связал его с Петром Григорьевичем, не помню, встретились ли они в тот его приезд или уже в следующий приезд. Мне еще помнится, что он появился еще раз до своего отъезда у моих родителей, куда пришел на встречу со мной и Ларой А. И. Солженицын. Он пробыл недолго, но, по-моему, есть наша фотография всех вместе, которую сделал мой папа.

Яхимович был полон энергии и идей, что делать, но деталей уже не помню. Помню его страстность и серьезность»³.

В конце июля 1968 г., за месяц до начала известных событий в Чехословакии, П.Григоренко, И.Яхимович, еще несколько человек, близких к ним по бывшей партийной принадлежности, подписали письмо в поддержку демократических реформ в Праге, в поддержку первого секретаря ЦК компартии Чехословакии А.Дубчека.

В конце февраля 1969 г. И.Яхимович и П.Григоренко составили обращение «К гражданам Советского Союза», в котором, осуждая карательные действия Советского Союза в отношении «пражской весны», призывали граждан Советского Союза добиваться вывода советских войск из Чехословакии.

К этому времени И.Яхимович жил в Юрмале, работал кочегаром в одном из санаториев.

24 марта 1969 г. он был арестован и вскоре подвергнут в Риге судебно-психиатрической «экспертизе», продолженной в Москве, в институте им. Сербского, и завершившейся, как и следовало ожидать, медицинско-обвинительным приговором: принудительным лечением.

2. Там же. С. 98-99.

3. Из письма П.М.Литвинова Г.Г.Суперфину от 12.07.2014 г.

И.Яхимович стал одним из первых диссидентов, к которому государство применило эту меру «социальной защиты».

Через месяц с небольшим после ареста И.Яхимовича был изолирован и генерал П.Григоренко, предлагавший создать Комитет в защиту И.Яхимовича, который, как считается, мог бы стать первым из заявленных союзов борьбы за соблюдение Конституции СССР.

Содержался И.Яхимович в Рижской психоневрологической больнице, общего типа. Рижские друзья поддерживали его семью самообложением, одно время какая-то помощь поступала из Москвы, в том числе и от генерала П.Григоренко. В больнице Иван Яхимович познакомился с Ильей Рипсом, содержавшимся там же в связи с попыткой самосожжения у Памятника Свободы в Риге в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

19 апреля 1971 г. завершился кем-то отмеренный срок пребывания И.Яхимовича в больнице. Под судом и следствием, в психоневрологической клинике провел он два с лишним года... Определенную роль в его освобождении из «медзаключения» сыграла его адвокат – С.В.Каллистратова. Всеми силами стремилась вернуть мужа семье его жена – Ирина Сергеевна, педагог, после ареста мужа лишенная возможности работать в школе.

В Юрмале и Риге И.Яхимовичу жить не «рекомендовали», он перенулся в Даугавпилс, где много лет проработал мастером лесопарков (или, как он называл себя – лесником, лесоводом, лесничим) в городском комбинате благоустройства, где объект его внимания – природа, помощники в сохранении природы, в борьбе за природу, в борьбе с порубщиками – школьники, «зеленый патруль». К 700-летию Даугавпилса по его инициативе в городе и его окрестностях укоренили 100 000 саженцев.

В эти годы связь с внешним миром была почти утрачена (разве что сохранялась через радио); одно из немногочисленных исключений – П.Григоренко, который после освобождения из психиатрической больницы в 1974 г., как-то отдыхал с женой и сыном в Юрмале. Вынужденное молчание было яростно прервано во второй половине 1980-х – начале 1990-х, в переломные годы.

Были ли попытки вернуться на всесоюзную стройку? Не исключено, во всяком случае, в 1990 г. он встречается в Москве с Ларисой Богораз. Быть может, его сохранившиеся дневники расскажут, о чем



И.Яхимович (крайний справа) – участник «Балтийского пути». Окрестности Даугавпилса? 23 августа 1989 г. Домашнее собрание семьи И.Яхимовича.



И.Яхимович у своих лесопосадок. Окрестности Даугавпилса. Начало 2000-х гг. Домашнее собрание семьи И.Яхимовича.

шла речь в той давней беседе? Наверняка, вспоминали прошлое, но говорили ли о будущем, о реальной работе во имя будущего или признавались в том, что диссидентам участвовать в регулярном де-



И.Яхимович с женой, Ириной Чижовой, на празднике песни. Даугавпилс. Середина 2000-х гг. Домашнее собрание семьи И.Яхимовича.

мократическом строительстве – не по специальности. Сомнительно, однако, чтобы разговор шел по этому пути... Во всяком случае, в эти же годы И.Яхимович – горячий сторонник Народного фронта Латвии, член Думы Народного фронта, баллотировался в Верховный Совет и Сейм Латвии, конечно же, стоял на рижских баррикадах января 1991 г. Депутатом стать не пришлось...

Позднее, с выходом на пенсию (1992 г.), И.Яхимович много внимания уделял досугу, культуре, трудоустройству безработных Даугавпилса, неожиданно возникших в новых экономических и политических условиях.

Мы познакомились с Иваном Антоновичем в самом начале 1990-х годов. Он был полон сил и здоровья, шел своей прямой дорогой, но уверенность и сомнения уже шли рядом. Разве что доля сомнений в те начальные девяностые была еще очень незначительной, но готовность к сомнениям уже была налицо. И какое-то умолчание слышалось в его рассказах о давних встречах то с тем москвичом, то с другим...

С 1949 г. и почти до конца своих дней И.Яхимович вел дневник, в котором преимущественно отмечались события внешнего порядка (они же – для ведущего дневник – внутреннего).

В конце 1980-х гг. он составил небольшую автобиографию, в которой именовал себя в третьем лице: Иван Антонович Яхимович родился... пас коров... видел гробы с телами замученных... объездил Латвию, потом Союз... встретил свою будущую жену... принял решение оставить свой пост инспектора РОНО... был изолирован... Скорее всего, эта автобиография – всего лишь предвыборный материал, но есть что-то корневое в этом именовании себя в третьем лице...

И, конечно, писал стихи. еще со школьных лет. Приведем одно из них, недатированное, но, судя по всему, из последних, что-то из антологии поэтической автоэпитафии:

Людской полигон

Нас мало осталось.
Мы скоро уйдем,
Навечно покинув
Людской полигон.

Мы станем землю,
Ковыльной травой,
Уже никогда
Не вернемся домой.

Случайный свидетель
Событий былых
Случайно отметит
Заслуги одних,

Случайно забудет
Других имена –
Кому наша правда
Публично нужна?

Мы только эпоха.
Мы только волна.
И время нас спишет,
Как павших война.

Благодарим И.Карбанову, П.Литвинова, Г.Суперфина и Е.Целму за помощь в подготовке статьи.

ПАМЯТИ РУТЫ ОЗОЛИНИ



В воскресенье, 29 марта 2015 года, в Риге скончалась Рута Озолиня – член Правления Международного общества «Мемориал», председатель Рижского Мемориала.

Это огромная потеря для всех «мемориальцев».

Наши глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Руты Карловны.

* * *

Рута Озолиня родилась в Москве в 1930 году. Окончила биологический факультет Латвийского Государственного университета (1954), работала в Университете, затем в Институте микробиологии АН Латвии. Доктор биологических наук, почетный доктор АН Латвии.

С 1988 года участвовала в работе секции «Мемориал» Балто-славянского общества, в 1989 году – среди основателей самостоятельного Общества Рижский Мемориал, член Правления. С 2000 года – председатель Общества. Член Координационного совета Объединения политрепрессированных Латвии, член Правления Международного общества «Мемориал».

Участвовала в организации и проведении выставок Рижского Мемориала: «Стена Памяти», «Пакт Молотова-Риббентропа», «Трагедия Катыни», «Карты ГУЛАГа в странах мира», «В мире двух

диктатур», «Большой террор 1937-1938 и другие годы» и других – в сотрудничестве с Международным Мемориалом и Санкт-Петербургским НИЦ «Мемориал», Военным музеем Латвии, Объединением политрепрессированных Латвии.

Вела консультативную работу.

Сферы интересов – история репрессий латышских организаций в СССР, увековечение их памяти, проблемы репатриации...

Москва. Международное общество «Мемориал».

ИЗ СОБРАНИЯ Т.И.ВЛАСОВОЙ

Много лет в Риге, в Театральном музее занималась историей рижских театров, судьбами актеров и режиссеров Татьяна Ивановна Власова (12.05.1926-03.04.2012). Публикуем из ее семейного архива несколько документов, посвященных ее деду и бабушке по материнской линии, одной из тетушек.

1

Свидетельство № 43

Сим, с приложением церк<овной> печати свидетельствуется, что в хранящейся при церкви 13-го пех<отного> Белозерского полка Метрической книге на 1885 год, в ч. II о бракосочетавшихся под № 3 записано: «тысяча восемьсот восемьдесят пятого года м<еся>ца июля двадцать четвертого дня Подпоручик 13-го Белозерского полка Алексей Иванович Виноградов, православного вероисповедания 27 лет с дочерью помощника Начальника Гроэцкого [!] уезда, Коллежского Ассессора Леопольда Ион, девицею Софиею Честавою Вандою (3-х имен) Леопольдовою Ион, Римско-Католического исповедания, 18 лет, первым браком Священником 13-го пех<отного>Белозерского полка Александром Румянцевым повенчан.

Гор<од> Ново-Минск.

1885 года Июля 25 дня.

13-го пех<отного> Белозерского полка
Священник [Подпись] Александр Румянцев

[Печать 13-го пех<отного> Белозерского полка]



Свидѣтельство.

Симъ, съпримложеніемъ церк. печати, свидѣ-
тельствуется, что въ г. Ново-Минскъ при церкви
13^{го} пѣх. Смоленскаго полка. Митрицкой кнѣ-
ни 1885 году, въ г. По бракосочетавшіяся по
№ 3 записано: тѣмъ же вослѣдствіемъ вослѣдствіемъ
пятиго гда мѣсяца Іюля Владимѣръ четвертаго
дѣя Подпоручикъ 13^{го} пѣхотнаго Смоленскаго
полка Алексѣй Ивановичъ Виноградовъ, право-
славнаго вѣроисповѣданія, Дмитрій съ воеводою
помощника Михайловича Трещкина убого, Кол-
лѣжскаго Ассессора Леопольда Іоанъ, дворянск
Софію-Віставово-Вайсово [3^{ья} илиня] Леопольдов-
ною Іоанъ, Римско-Католическаго исповѣданія,
Іоанъ, первый бракомъ, Священникомъ
13^{го} пѣх. Смоленскаго полка Александромъ
Думанцевымъ повѣнчаны.

Гор. Ново-Минскъ. 1885 году Іюля 25 дня.

- 13^{го} Пѣх. Смоленскаго полка

Священникъ Александръ Рудневъ



2

М.В.Д.
Рижский городской врач
Рига
17-го мая 1905 г.
№ 80

Свидетельство о прививке оспы

Сим свидетельствую, что дочери Надворного Советника Алексея Ивановича Виноградова – Лидии, родившейся 11-го февраля 1897 г., оспа привита, о чем имеются следы.

Городовой врач
Подпись] Климович
[Печать Рижского городского врача]

3

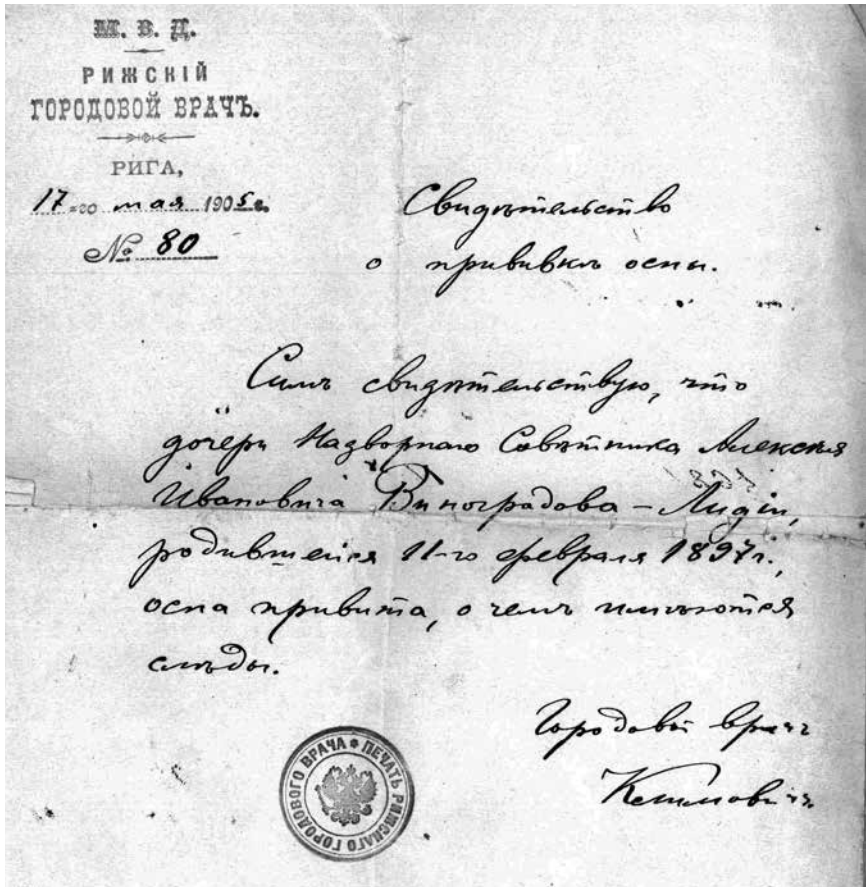
Завещание полковника А.И.Виноградова

1905 г. ноября 2 дня я, нижеподписавшийся, Алексей Иванович Виноградов, в здравом уме и при твердой памяти заявляю, что в случае моей естественной или насильственной смерти распорядительницей оставшегося имущества и денег по моей страховке в количестве 6 000 руб. назначаю дорогую мою жену Софию Леопольдовну Виноградову, урожденную Ион. Недвижимое имущество и деньги, получению подлежащие по страховым полисам № 110944 общества «Россия» -- 1 000 р. и № 1549926/57041 – 5 000 р., в «Нью-Йорке», делятся поровну жене и моим детям – Софии, Марии, Елене, Евгении и Лидии.

Если смерть последует во время нахождения в Рижской городской [зачеркнуто несколько слов], то еще выдается из вычетов со служащих оной около 400 руб., кроме того, состою членом Лемзальской похоронной кассы, откуда выдается для каждого умершего члена около 120-140 руб.

Других средств я не имею, но долги имею, из них главный Мечиславу Владиславовичу Гродзкому в количестве 3 000 руб. и другие по кассам всего около 1 000 руб. Уплата долгов будет зависеть от усмотрения жены моей, мое же желание таково, чтобы все долги были уплочены – чужие деньги счастья не принесут.

Обращаюсь к вам, мои дорогие дети, с просьбой и приказанием



Свидетельство о прививке оспы Л.Виноградовой. Рига. 1905 г.

любить и покоить вашу мать, которая из-за Вас много выстрадала в своей жизни, чтобы она не пожалела в старости, что имеет детей; она отдала вам всю свою жизнь, и свои силы; кроме того, дети мои, не будьте судьями родителей; что было хорошее – помните, что было дурное – забудьте; ведь вы не знали состояния наших душ в минуты наших душевных невзгод, а потому судить не можете.

Дорогая моя Соня, обращаюсь к тебе с просьбой простить меня, если я в чем-либо перед тобой провинился за нашу совместную жизнь, а особенно в тяжелые минуты моего душевного состояния. Люби детей по-прежнему, хотя эта просьба излишня, руководи

их поступками, пока они еще не станут самостоятельными, давай указания, но их воли не насилуй, а особенно в выборе их, если таковые будут, мужей, в этом деле можно советовать, но не приказывать. Тебя, Соня, и вас, дорогие дети, благословляю на долгую счастливую жизнь. Не смотрите на жизнь, как на поле, усеянное цветами, в ней есть масса терний, покатоствей и др. неудобств. К намеченной цели идите твердо, но только честным путем. Любите друг друга и поддерживайте одна другую в нужде словом и делом, младшие должны слушать старших, а все – слушать свою мать.

Прошу вспомнить иногда об умершем и горячо любившем вас покойнике. Это письмо попадет в ваши руки только после моей смерти, а потому я и ставлю слово «покойник».

жизни материально, а особенно мать Лени, Женю и Лидию.

Живите с Богом в век счастливого.

Дорогая Соня-жена, как не ругалась тебе скажу при жизни, скажу после смерти. Если ты найдешь нужным пресмыкаться настоятельно срамилась не зря, то я прошив того никак не ишито и давай в это же приказываю.

Мужь, отец и товарищ
А.И. Виноградов

Рига 2/11-1905 г.

Прошу похоронить меня как можно скромнее и с меньшими расходами.

О моей смерти родных моих уведомить после моих похорон.

К Мечиславу Владиславовичу Гродскому[!] обращаюсь с покорнейшей просьбой не оставить мою семью после моей смерти без совета и нравственной поддержки; прощайте, старый товарищ, не поминайте лихом, если я виноват перед Вами, то прошу простить!

Смерти я не боюсь, ведь ее не избежишь, но душа моя беспокойна за семью, которую я не сумел обеспечить при жизни материально, а особенно жаль Лену, Женю и Лидушу.

Живите с Богом все счастливо.

Дорогая Соня, жена, чего не решался тебе сказать при жизни, скажу после смерти. Если ты найдешь нужным переменить настоящую фамилию на другую, то я против того ничего не имею и детям это же приказываю.

Муж, отец и товарищ

А.И.Виноградов

Рига. 2/XI. 1905 г.



Мать и дочери Виноградовы. Рига. 1906 г.?

ФОТОКОММЕНТАРИЙ К РАЗГОВОРУ О.МАНДЕЛЬШТАМА И М.ЦВЕТАЕВОЙ О ПОЛКОВНИКЕ А.В.ЦЫГАЛЬСКОМ

История о том, как в годы Гражданской войны военный инженер и поэт полковник Белой армии А. Цыгальский в «белом» Крыму 1920 г. заступился за арестованного врангелевской контрразведкой О.Мандельштама, хорошо известна. О своем знакомстве с А.Цыгальским (без прямого упоминания об аресте и освобождении, но со скрытой формой благодарности, спрятанной в словах о доброте как отличительном качестве полковника на фоне чрезмерной подозрительности тамошних «спецслужб», на фоне живой склонности иных людей к безнаказанным убийствам) вспоминал и сам О.Мандельштам. В главке «Бармы закона» из его биографического очерка «Феодосия» образ полковника врангелевской армии и поэта – в какой-то степени



Крайний слева в первом ряду – Виктор, крайний справа – Игорь. Петербург (?), около 1912.

ключ к тогдашним представлениям Мандельштама о судьбе России и обреченности движения по спасению России под знаменем Белой армии. Напомним, что возмущенная и оскорбленная за Россию и Белое движение М.Цветаева набросала «Мой ответ Осипу Мандельштаму», заявив центральной фигурой мандельштамовской главки «Бармы закона» полковника Белой армии, поэта и человека А.Цыгальского.

Но речь не о том, всем известном.

О чем же?

В очерке М.Цветаевой упоминаются дети А.Цыгальского, по экспрессивной М.Цветаевой, – голодные, чуть ли не в тифу, «которых Вы [О.М.] по легкомыслию своему обронили на дороге своего повествования (два кадетика, 12 и 13 лет <...>, имен не знаю)».

В архиве И.В.Цыгальской, внучки полковника А.Цыгальского, сохранились фотографии – под условным названием «Полковник А.Цыгальский со своими сыновьями. Петербург, около 1914 г.» и «Мать А.Ц.



Екатерина Алексеевна с внуками». Помещаем эти фотографии с рассказом И.В.Цыгальской о сыновьях А.Цыгальского и их судьбе.

«...Та, кого нянчил полковник, была не сестра ему, а вторая жена. Ее звали Екатерина (Ефросинья). <...> „Два кадетика, двенадцати и тринадцати лет, чуть ли не в тифу, имен не знаю...“ <...> Старший – мой отец, Виктор, родился в 1906 году, умер в 1963. Похоронен в Риге. Во время войны два раза был в окружении, бежал из немецкого плена, находился какое-то время в советском лагере. Отпустили, – но работу найти в Ленинграде или Москве, где мы жили перед войной, оказалось невозможным. Вероятно, из-за всех этих причин – происхождение, окружение, плен, лагерь, – мои родители сочли за благо в 46-м году уехать в Латвию, хотя карьера отцу и здесь была заказана...

Младшего «кадетика» звали Игорь, родился он в 1908 году. В двадцать четыре года покончил с собой». (Цыгальская И. «Все судьбы трагические». Эссе, зарисовки былого. Даугава. 2009. С. 26).

БЫЛО?

Ниже по материалам Государственного архива Латвии (ф. 101, Коммунистическая партия Латвии) приводятся справки Комитета государственной безопасности ЛССР за 1977 г. относительно выявленных нарушений «отдельными советскими туристами установленных правил поведения во время выезда и пребывания за границей». При публикации опущены фамилии упомянутых в справке лиц и места их работы.

В КОМИССИЮ ПО ВЫЕЗДАМ ЗА ГРАНИЦУ ПРИ ЦК КП ЛАТВИИ

В первом квартале 1977 года имели место нарушения отдельными советскими туристами установленных правил поведения во время выезда и пребывания за границей.

В январе 1977 года по маршруту ПНР-ГДР в качестве туриста выезжала С. ДЗИНТРА КАРЛОВНА, 1945 года рождения, беспартийная, рабочая... пытавшаяся провести через границу 70 рублей советских денег, которые были обнаружены работниками таможни.

Туристы той же группы:

Г. ПЕТЕРИС ПЕТРОВИЧ, 1931 года рождения, беспартийный, механик... пытался провести 10 рублей, спрятанные в куске мыла.

С. ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, 1945 года рождения, работница детского сада... в гг. Лейпциге и Дрездене пыталась продать местным жителям водку.

В феврале с. г. в турпоездку по ЧССР выезжал К. ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1922 года рождения, член КПСС, старший инженер... Во время путешествия держался обособленно, часто отрывался от группы, в город всегда уходил один, имел местной валюты больше, чем было официально обменено туристам. В городе Праге купил хрустальную вазу стоимостью в 1000 крон.

В феврале с. г. была выдана необъективная характеристика-рекомендация для турпоездки в ПНР Ф. АРКАДИЮ ВИКТРОВИЧУ, 1938 года рождения, члену КПСС, директору...

Ф. А. В. о своем оформлении документов на выезд за границу райком партии в известность не поставил. По месту работы на него была составлена положительная характеристика-рекомендация. В то же время секретарь парторганизации тов. Серова ранее жаловалась,

что Ф. А. В. развил в... панибратство, часто после работы употреблял спиртные напитки.

Жена Ф. – в прошлом сотрудница... Р<айонного >К<омитета> К<оммунистической> П<артии> Латвии, просила обратить внимание на супруга, т.к. он стал допускать аполитические высказывания, в частности, с сожалением говорил, что не имеет за границей родственников, что «люди, имеющие таковых, живут обеспеченно и вообще за границей живут очень хорошо». Жена также подтвердила, что Ф. часто домой стал приходить в нетрезвом виде. Оформление документов на выезд за границу Ф. осуществлял тайком от жены.

По существу изложенного нами проинформированы соответствующие партийные органы.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СМ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

[Подпись] (Кравченко)

2

Во втором квартале 1977 года имели место следующие нарушения советскими туристами установленных правил поведения во время выезда и пребывания их за границей:

1. В апреле 1977 года в составе специализированной группы туристов в ЧССР и ГДР выезжал Б. КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ, 1927 года рождения, беспартийный, машинист-регулировщик... который часто самовольно отлучался из гостиницы, отрывался от группы с целью продажи сигарет. Произвел покупки на сумму, превышающую обменную валюту.

2. Находившийся в апреле 1977 года в ЧССР Р. ЯНИС АНТОНОВИЧ, 1933 года рождения, беспартийный, шофер ... систематически злоупотреблял спиртными напитками, в пьяном виде грубил и не подчинялся указаниям руководства группы, выдавал себя за сотрудника милиции.

3. Туристка группы, выезжавшей в ПНР и ГДР 27 апреля Ц. ЕВГЕНИЯ ПАНИЕВНА, 1937 года рождения, член КПСС, начальник отдела стройуправления ... в Польше продала золотую цепочку и несколько бутылок водки.

4. Туристка группы, выезжавшей в марте-апреле в БНР, З.

ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА, 1937 года рождения, беспартийная, начальник района (!) предприятия ... самовольно отлучалась из группы для встреч с иностранцами.

5. Туристы поезда «Дружба», выезжавшего в июне в Болгарию: А. ДАЙНИС ЭВОЛДОВИЧ, 1934 года рождения, беспартийный, электромонтер... часто злоупотреблял спиртными напитками, отставал от группы, в беседе с иностранцами заявлял о своем отрицательном отношении к русским.

С. МАЙЯ ЭДУАРДОВНА, 1942 года рождения, беспартийная, паспортистка... разведена – проявляла стремление к установлению интимных отношений с мужчинами, в том числе с иностранцами, вела себя вульгарно.

6. Руководитель группы, выезжавшей по маршруту ПНР-ГДР-ПНР в январе с. г., Т. АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ, 1933 года рождения, член КПСС, председатель местного комитета ... один из дней во время поездки объявил днем памяти Чапаева и предложил рассказывать на эту тему анекдоты. При посещении могилы советских воинов в Берлине, во время прохождения мимо нее и в присутствии туристов из капиталистических стран неожиданно начал смеяться. Организаторские функции осуществлял слабо.

7. Туристка группы, выезжавшей в ПНР-ЧССР с 8 по 25 июня, Б. ВЕРА МАТВЕЕВНА, 1921 года рождения, беспартийная, разведена, корректор... 23 июня вместе с иностранцем, находившемся в нетрезвом состоянии, ушла из группы.

8. Турист этой же группы А. ЯНИС ЮЛЬЕВИЧ, 1939 года рождения, беспартийный, ст. инженер-экономист... с нежеланием относился к возложению цветов на могилах советских воинов. Покидал группу без разрешения руководства.

По существу изложенного нами проинформированы соответствующие партийные органы.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР

[Подпись] (Пуго)

В III квартале 1977 года имели место следующие нарушения советскими туристами установленных правил поведения во время выезда и пребывания их за границей:

1. В августе-сентябре 1977 г. в составе туристов в НРБ выезжала Б. ИНАРА ЖАНОВНА, 1938 года рождения, б/п, работает в качестве фармацевта... которая в нетрезвом виде в подсобном помещении ресторана вступила в интимную связь одновременно с несколькими местными жителями.

2. В июне-июле 1977 года в составе туристской группы в Болгарии находился Г. ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ, 1945 года рождения, б/п, слесарь... который систематически злоупотреблял спиртными напитками, в пьяном виде учинял скандалы в общественных местах.

3. В той же группе в Болгарии находились Б. ТАМАРА ФЕДОТЪЕВНА, 1953 года рождения, член ВЛКСМ, инженер... У. СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, 1948 года рождения, б/п.

Они регулярно встречались с иностранцами из числа местных граждан, в связи с чем возвращались в гостиницу в 2-3 часа ночи.

Кроме того, получены данные о неправильном поведении отдельных выезжающих в поездки за границу лиц и попытках использовать предстоящие поездки в корыстных и иных личных целях.

[Извещаем] также о необъективности характеристик, выдаваемых некоторыми организациями по оформлению к выезду за границу. Так:

1. 27 сентября 1977 года в составе туристической группы, направлявшейся в АРЕ: К. АНДРИС ВОЛДЕМАРОВИЧ. 1944 года рождения, чл. КПСС, работает в качестве официанта...

пытался незаконно провести за границу 75 американских долларов, которые у него были обнаружены спрятанными в обуви и изъяты таможей в аэропорту Шереметьево.

2. В сентябре 1977 г. в туристическую поездку в ГДР с супругой оформлялся О. ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1950 года рождения, Член ВЛКСМ, женат, шлифовщик...

В связи с тем, что супруге в путевке было отказано, О. остановил станки и прекратил работу. Добившись включения жены в группу и уплатив за путевки, О. написал заявление об увольнении с завода. Администрация отозвала характеристику-рекомендацию.

В дальнейшем О. вел себя вызывающе на заводе и в Латвийском республиканском Совете профсоюзов.

3. В августе 1977 года к выезду в составе спортивной делегации в США оформлялся Б. ГЕОРГИЙ ЕФРЕМОВИЧ, 1932 года рождения, член КПСС, женат... на которого... была представлена необъективная характеристика. При проверке выяснено, что Б. во время службы имел ряд взысканий за серьезные недостатки в работе; в 1974 году понижен в должности... Характеризуется человеком с низкими моральными качествами. Являясь начальником... Б. информировал свою жену, работавшую в системе торговли, об интересе, проявленном к ней органами милиции в связи с совершавшимися ею сделками.

4. В августе 1977 года для поездки в составе тургруппы в Болгарию и Румынию был оформлен Г. ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1944 года рождения, б/п, инженер-конструктор... который перед самым выездом написал письма, адресованные ряду инстанций. В них Г. требовал представления ему отдельной квартиры с обязательным направлением ему положительного ответа через советского консула в Болгарии.

К., О., Б. и Г. от поездок за границу отведены.

По существу изложенного нами проинформированы соответствующие партийные органы.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР

[Подпись] (Пуго)

ПОД СЕНЬЮ ПОСТАМЕНТА

БАРКЛАЮ ДЕ ТОЛЛИ

В 1913 г. в рамках празднования столетия Отечественной войны 1812 г. в Риге на Эспланаде (в сов. эпоху – Парк коммунаров) был установлен памятник одному из российских полководцев, командующему Русской армией на начальном этапе Отечественной войны – фельд-маршалу М.Барклаю де Толли.

Во время Первой мировой войны памятник эвакуировали из Риги, следы его затерялись... На месте остался лишь «истории момент» -- гранитный постамент, на протяжении многих лет служивший пьедесталом или фоном для одиночных, чаще (благодаря карнизу на постаменте) – для массовых съемок, доказательством чему служит публикуемая ниже фотография, любезно предоставленная П.Тюриным.

На снимке: слева направо (карниз, подножье):

Изя (Исраэль) Малер (1943 – 1997, Иерусалим), художник, поэт, прозаик, мемуарист; Вадим Борисов (1945 – 1997, Апшудиемс, Латвия), историк, один из авторов сборника «Из-под глыб», в 1988-1991 гг. зам. главного редактора журнала «Новый мир»; Владимир Брагинский (род. 1945), профессор, зав. кафедрой малаистики Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета; Роман Тименчик (род. 1945), литературовед, профессор Иерусалимского Еврейского университета в отставке; Сэм (Валентин) Семенов (1945 – 2009, Рига), журналист, автор рижской печати; Павел Тюрин (род. 1943), художник, доктор психологических наук; Владимир Гаврилов (род. 1945?), поэт, юрист, ныне житель г. Любек; Борис Френкель (род. 1940), физик, ныне житель Иерусалима.

Благодарим за помощь в атрибуции фотографии Н.Бастину, А.Карельскую, А.Ракитянского, С.Ригу, Э.Секундо, С.Черноброву и фигурантов: Р.Тименчика и П.Тюрина.

P.S. В 2001 г. на постамент в виде копии был возвращен Барклай



де Толли (идея и финподдержка – рижского предпринимателя Е.Гомберга), но одновременно с этим памятник в какой-то степени утратил особенности декорации, на фоне которой снимались «и те и другие»

Подготовка и публикация материалов Н.Петренко

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Акимов Геннадий (1956, Казахстан). Окончил Карагандинский гос. ун-т (филолог. ф-т). В 1982 г. переехал в Днепропетровск, где на разных должностях работал в издательстве «Заря». С 1989 г. занимается частным предпринимательством. В начале 90-х переселился в Курск. Важнейшая публикация – в журнале «Эмигрантская лира» (<https://sites.google.com/site/emliramagazine/avtory/akimov-gennadii/akimov-gennadii-2014-7-1>).

Аузинь Имант (1937-2013) – поэт, переводчик, критик. Автор почти сорока книг стихов, прозы, критики, эссе. Переводил М. Лермонтова, Т. Шевченко, А. Блока, В. Незвала, а также современную украинскую, русскую, литовскую поэзию. Стихи И. Аузиня переведены на многие языки.

Бабинов Олег (1967, Свердловск [Екатеринбург]). Окончил МГУ (философск. ф-т). Занимался теорией организаций, руководит российским и евразийским подразделениями международной консалтинговой компании. Публикации в журналах «Ковчег», «День и ночь», сетевом журнале «Литература, альманахе «Стихи. Перекрёстки»; готовит к печати сборник стихов.

Валерина Ирина (1975), живет в Бобруйске (Беларусь). Публикации – в печатных антологиях «45-ой параллели», в журналах «День и ночь», «Ковчег», в ряде электронных изданий. Автор книги стихов «Держась за воздух» (2014, изд-во «Эйдос», С.-Петербург) и сборника стихов «Ламповой сажей на пересохшем папирусе», изданного ограниченным тиражом в рамках ознакомительной литературно-художественной серии «32 ПОЛОСЫ».

Вердиньш Карлис (1979) – поэт, историк литературы, критик. Автор нескольких сборников стихов, в т.ч. вышедших в переводе в Польше, России, Чехии.

Герасимов Алексей (1969, живет в Латвии с 1977 г.) – поэт, прозаик, переводчик. Окончил Лит. ин-т им. Горького, работает в садоводстве. Публиковался в «Рижском альманахе», в журналах «Даугава», «Дружба народов», в переводе на лат. яз. в журнале «VARDŠ»; в петербургском сборнике «Толстый» (СПб.), на сайте журнала «Топос».

Гусева Светлана (1987, Москва) – архитектор, окончила Моск. архитектур. ин-т. Печаталась в ж. «Волга» (2015, № 3-4).

Иванова Анна родилась в Риге в 1970 г. Работает корректором. Публикации – статьи и переводы – в российских печатных изданиях и в сети. Живёт в Москве.

Копытова Елена (1974) – поэт. Окончила Моск. гос. индустр. ун-т (юридич. ф-т), магистратуру рижского Ин-та транспорта и связи. Автор четырех сборников стихов. Публиковалась в журнале «Даугава», поэтическом ежегоднике «Письмена» (Рига), др. печатных и сетевых изданиях.

Куликов Александр (1958, Владивосток). Журналист. Окончил Дальневосточный гос. ун-т (ф-т русск. филологии). Стихи публиковались в журналах «Юность», «Октябрь», «Памир» (переводы стихов таджикского поэта Рахмата Назри), «Дальний Восток», «Сихотэ-Алинь», «Крещатик», «Семь искусств», в альманахах «Литературный Владивосток», «Рубеж», в сборнике «Баркас» (Дальневосточное книжное издательство). Автор книги «Регтайм» (1996, Владивосток).

Ланин Александр (1976, Ленинград) – поэт. Стихи публиковались в альманахах «Белый ворон», «Зарубежные задворки», «Интеллигент», «Побережье», «Северная Аврора», «Витражи». Живёт во Франкфуртена-Майне (Германия).

Морейно Сергей (1964, Москва) – писатель и переводчик (на русск. и лат. яз.). Автор сборников стихов, переводов, эссе и рассказов.

Озмитель Михаил (1957, Фрунзе (Бишкек). Окончил МГУ (филолог. ф-т). Публиковался в начале восьмидесятых годов в периодических изданиях Киргизии. В настоящее время – переводчик freelance.

Петренко Николай (1955) – архивариус, живёт и работает в г. Ачаир.

Приедниец Анастасия Лиене (1981, Юрмала), живёт в городе Саулкрасты (Латвия). По профессии – химик, работает судебным переводчиком. Публиковалась в журналах «Северная Аврора» (2013), «Крещатик» (2014), альманахе «Письмена» (2015) и различных региональных изданиях.

Равдин Борис (1942) – историк культуры. Окончил Латвийский ун-т (ист.-фил. ф-т), работал в школе учителем литературы, в 1991-2006 гг. – редактор отдела, соредактор ж. «Даугава». Выступал со статьями и публикациями в разных изданиях. Автор, составитель и соредактор ряда историко-культурных сборников.

Ремизова Ирина (1972, Кишинёв). Окончила Молдавский гос. ун-т (филолог. ф-т.), работает в этом же учебном заведении преподавателем кафедры русской филологии. Автор трех сборников стихов.

Санникова Наталия (1975, Башкирия, деревня Васильевка). По образованию – журналист. Последние двадцать лет живет в Уфе, работает на радио: ведет авторские программы, в том числе о местной литературе. Публикации – в сборниках, в литературном журнале «Бельские просторы» (республиканский «литтолстяк»), в интернет-журнале «Русский переплет».

Симсоне Барбала (1978) – доктор филологии, зав. редакцией латышского языка, литературы и искусства изд-ва Zvaigzne ABC. Автор книг, вышедших на лат. яз: «География воображения: мистическая парадигма в фантастике 20 века» (изд-во ЛУ, 2010) и «Монстры и метафоры: в мире литературы ужасов» (изд-во Zvaigzne ABC, 2015). С 2003 г. активно работает в литературной критике, опубликовала около 200 рецензий и статей, около 80 статей в материалах конференций и научных изданиях.

Степанова Лана (1967), окончила Латвийский ун-т (филолог. ф-т). Работает переводчиком с латышского языка и редактором в бюро переводов PFAT. Печаталась в альманахе «Письмена» (2015 г.).

Цыгальская Ирина (1939) – прозаик, переводчик. Автор нескольких книг прозы и переводов прозы с латышского языка, сборника стихов и поэтических переводов. Публикации в журналах «Даугава», «Дружба народов», в «Рижском альманахе», журнале «Latvju Teksti».

Ширимова Елена (1978), юрист, работает экспертом по трудовому праву. Изданы две книги стихов. Последняя публикация – ж. «Волга XXI век» (2013, № 7-8).